

P₂
B-II



В ГОРАХ АЛТАЯ

ОБРОТОВАНАЦИЗДАТ
1947

75239

Горький
* БИО. ИСТОРИКА *

~~19427~~

sp.

2

P₂
B-11

B44

В ГОРАХ АЛТАЯ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИК



50

182234
кр.

19497

0

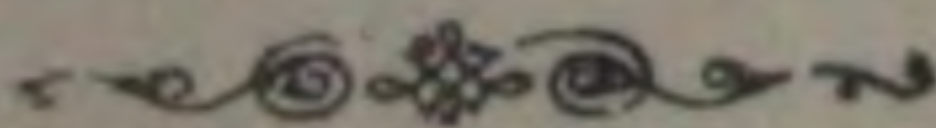
Горно-Алтайская Областная
* БИБЛИОТЕКА *

ОЙРОТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОЙРОТ-ТУРА-1947

О Т Р Е Д А К Ц И И

Настоящий сборник, выпускаемый к 25-летию Ойротской автономной области, является первой попыткой объединить в одной книге литературно-художественные произведения, в какой-то мере отображающие жизнь области, жизнь алтайского народа. Не все произведения этого сборника имеют одинаковую художественную ценность. Наряду с произведениями крупных, уже сложившихся писателей (П. Кучияк, А. Коптелов, Ч. Енчинов, И. Мухачев) в книге напечатаны и произведения молодых авторов, живущих и работающих в Ойротии. В сборник также включены, в разделе фольклора, песни алтайского народа, в которых воспевается радость освобожденного труда, величие Родины, непобедимая Советская Армия, Конституция, давшая народу великие права, и поется слава вождям народа—Ленину и Сталину.

Отзывы об этой книге редакция и издательство просят присылать по адресу: город Ойрот-Тура, Ойротская, 63, Национальному издательству.



ОЙРОТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
О И Р О Т - Т У Р А

П. КУЧИЯК

ЗАЖГЛАСЬ ЗОЛОТАЯ ЗАРЯ



(Алтайская легенда)

На Алтае подоблачном, в горной долине,
Где так зелены травы, где небо так сине,
Где так звёздочки ярко сверкают в ночи,
Жил-был бедный охотник Анчи.

Он имел одну лошадёнку

Да одну коровёнку,

И одет он был в ветошь, в худое рваньё.

Но охотников метких ведь кормит ружьё,

Ведь охота—алтайский извечный обычай.

Мясом зверя и птицы, удачной добычей

Он, Анчи, двух детишек кормил и жену.

И не только кормил он семью одну,—

Нет, когда на охоте удача бывала,

Он богатого бая кормил доотвала,

И, согнувшись пред ним в три дуги,

Без задержки ему он платил все долги.

В сроки подати также вносил он зайсану

И давал неизменно подарки шаману.

Но однажды холодной зимой

На охоте постигла Анчи неудача.

Шесть лишь белок, шесть белок убитых домой
Он привёз, чуть не плача.
У соседей придётся сменять их на хлеб!
Но уже чрез порог своей юрты ступая,
Он подумал: „Зачем я не слеп?“
В юрте он увидел кулака Тордин-бая.
„Чем, Анчи, ты порадуешь уши мои?—
Бай сказал, на Анчи взгляд уставивши бычий, —
Говори, не таи,
‘Ты с большой ли вернулся добычей?’
Голос мягкий у бая, бай ласков, не груб,
Точно масло, стекают слова с его губ.
Как смола от сосны, взгляд прилипчив у бая.
„Ровно месяц я ездил по дебрям Алтая,
А добычи — шесть белок всего!“ — „Ай-ай-ай!
Маловато — сказал Тордин-бай. —
Мне, однако, сидеть у тебя недосужно,
И других должников обойти ещё нужно.
Мне в счёт долга всех белок давай поскорей“, —
Молвил бай у дверей,
Шубу шёлковую на себе отряхнув,
Руки цепкие к сумке Анчи протянув.
Вынул белок из кожаной сумки Анчи:
„Вот... все шесть... получи...“

„Почему ты, отец, отдал белок ему?“ —
Дети спрашивать стали отца со слезами.
„Почему?— им ответил Анчи. — Потому...
Подрастёте, узнаете сами!“

На два месяца в горы уехал Анчи.
Пред судьбой, как ты там ни вертись, ни скачи,
Но её, если зла она, разве умолишь!
Неудача постигла опять бедняка:
Одного лишь в тайге он убил соболька,
Одного лишь!
Со своею не туго набитой сумой
Весь в печали вернулся охотник домой.

Воскочить не успев возле юрты с лошадки,
Видит бедный Анчи:
К нему едет — на выжимку подати падкий —
Сам Кокшин-Темичи:
„В срок илатить дань зайсану — хороший обычай.
Чем, Анчи, ты порадуешь уши мои?“

Говори, не таи,
Ты с большой ли вернулся добычей?"
„Одного удалось мне убить соболька“, —
Еле-еле сошло у Анчи с языка.
Облизнулся Кокшин-Темичи, ухмыльнулся:
„Хорошо хоть с такой ты добычей вернулся!
Где твой соболь? В счёт дани его я возьму".
На Кокшин-Темичи поглядел и с тоскою
Златошерстного соболя, молча, ему
Анчи подал дрожащей рукою.

Проводив злобным взглядом Кокшин-Темичи,
Вошёл в юрту, от горести сгорбясь, Анчи.
И сказал он жене: „Умереть можно так!
Мы умрём, и останутся детки одни!"
Но жена показала на стонущих деток:
„Умирают... они...
Коль умрут, закопай и меня с ними в яму...
Нет, они не умрут!.. Ах, спаси их, спаси!
Поезжай поскорее к священному каму,
Чудотворной молитвы его попроси".
Раздобыв у соседей хмельную араку,
Полетел к чудотворцу стрелою Анчи.
Пососал кам араку, зевнул, как собака,
И, нахмурясь, сердито сказал: „Не кричи!
Что случилось? При смерти дети больные?
Сколько? Двое? Мне счёт надо точно блюсти:
Раз молитвы богам вознесу я двойные.
Должен жертву двойную ты им принести".
„Ах, — заплакал Анчи. — Были б детки здоровы!
Забирай для богов всё, что есть у меня".
Так остался Анчи без последней коровы,
Так остался Анчи без коня.
И, как ствол оголённый, лишённый ветвей,
Чрез неделю остался Анчи без детей.
Было горе Анчи велико-велико:
„Где корова, дававшая нам молоко?
Где мой конь, выполнявший и дома работу
И возивший меня по горам на охоту?
Где они, наши дети, любовью рождённые,
Для которых, тяжёлым трудом измождённые,
На себя мы тройной возложили бы труд?
Люди врут!
Боги врут!.."

На кощунство Анчи нет ответа.
И куда ни посмотрит Анчи, —
Тьма, бездонная тьма, и не видно просвета!
Солнце скрылось, последние смеркли лучи.
И о чём ни подумает бедный Анчи, —
Думы, словно тяжёлые, чёрные тучи,
Тяготят его голову. А богачи
Всё попрежнему злы и могучи.
Лютым волком приходит к Анчи Тордин-бай,
Нарастающим списком долгов его сушит:
„За долги, — говорит он, — жену мне отдай“.
А зайсан его страшною податью душит.
И сказал так Анчи (речь была его — стон).
Он жене так сказал, что узнать хочет он,
Почему беднякам тяжело спокоя река.
Есть ли вправду ль, такой неизменный закон,
Чтоб терзал человек человека?
„Я пойду, обойду
Шестьдесят на Алтае живущих народов
И ответ я найду
Без обмана, без хитрых обходов.
Я узнаю пойду:
Есть ли сила такая на свете на белом,
Чтоб зайсан перед нею стоял онемелым?
Будет время такое на свете иль нет —
До того не умру ль я, успевши состариться —
Когда бай, не имея греша, на обел,
На прогорклый сухарь будет зариться?
И найдётся ли мудрость такая — и в ком, —
Чтобы кам оказался пред ней дураксм?
И пока мудреца я не встречу такого,
Чтоб на это на всё он ответил толково,
Не увидеться вновь нам в долине родной,
Где мы счастья с тобою усердно искали...“ —
Так сказавши, Анчи распрощался с женой.
Очень ласково с ней распрощался, в печали.
И ушёл...

Обошёл он шесть раз весь Алтай,
Весь Алтай обошёл по горам понемногу,
Землю всю обошёл он семь раз, почитай, —
Вот какую большую осилил Дорогу!
Но нигде не увидел он силы такой,
Чтоб могла сжать зайсана железной рукой.
Но нигде не узнал о поре о волшебной,

Когда баи попробуют жизни бесхлебной.
Но не встретил такого нигде мудреца,
Пред которым бы кам превратился в глупца..
Он искал пропитанья на свалках отбросов,
Отдыхал он, попав, как бродяга, в тюрьму.
От ходьбы — его ноги, язык — от вопросов
Ослабели и еле служили ему.
Уж казалось Анчи — он стоит у могилы
И что светлой ему не увидеть поры!
Кое-как, напрягая последние силы,
Он взошёл на вершину высокой горы.

„Мне, глаза чьи туманы изъели,
Мне, нуждою замученному с колыбели,
Кто мне счастье, кто светлую жизнь принесёт?
Есть ли где богатырь доброты столь безмерной,
Что поддержит меня своей помощью верной
И от гибели чёрной спасёт?“ —
Так вскричал он, Анчи, криком — долгим распевом,
Злой печалью вскипел его голос и гневом.
Вдруг — Анчи еле мог устоять на ногах —
Не успело откликнуться эхо в горах,
Как, лишившись, как будто, на время опоры,
Сотряслась земля, зашатался горы,
Над Алтаем, сверкая, гремя
И свой путь к той горе устремля,
Где Анчи слово гневное сказано было,
Лучезарное облако всплыло.

На востоке зажглась золотая заря,
Солнце землю окинуло огненным взглядом,
И луна, серебристым узором горя,
Засияла с ним рядом.
И увидел Анчи: богатырь перед ним
Средь бескрайних просторов, народом обильных,
Землю всю сотрясающий словом одним,
Видом — добрый из добрых и сильный из сильных!

Его брови — подобие горных хребтов!
Его очи горят ослепительным пламенем!
Мир, казалось, весь встать немедля готов
Под его алым знаменем.
В его правой руке блещет солнечный луч,
В левой — лунный. Он добр и могуч.
Он сказал — и слова, точно гром, прозвучали
Над горами, лесами, извивами рек:
„Ты откуда явился сюда, человек,
Дни и ночи свои проводящий в печали?“

„Я — бедняк, — потрясённый Анчи дал ответ. —
Себя чёрным трудом, бедняки, мы увечим.
Я трудился всю жизнь от младенческих лет,
А прикрыть свои голые плечи мне нечем, —
Одеяния нет.
А желудок мой пуст, накормиться мне нечем, —
Пропитания нет.
Вся добыча моя, всё, что я ни достану,
Сразу баю идёт и лихому зайсану.
Коль останется что, приберет всё к рукам
Жадный кам.
Все они, словно чёрные вороны,
Расклевали меня и влачат во все стороны!
Может быть, новый путь ты укажешь векам
Вместо нынешней залитой кровью дороги?
Может, ты не оставишь меня без подмоги
И поможешь таким же, как я, беднякам?“

„Знай, Анчи: от моих громоносных ударов
Ныне пала навеки зайсанская власть.
Обеззублена у богачей — у байларов,
Их ненасытная пасть.
Камов чёрный обман вскрыт пред всем белым светом,
Беднякам к светлой жизни распахнута дверь,
Всё, что добыто ими зимою и летом: —
Скот домашний, лесная ли птица и зверь, —

В их руках всё теперь
Ваше всё то, что было доселе зайсаново.
Бедняки, стройте жизнь свою заново.
Дружной, братской семьёй общий подвиг творя! —
Так сказал богатырь этот с огненным ликом,
И народ, окружающий богатыря,
Подтвердил его речь грозным, радостным криком.

Назови свою родину, о богатырь!
Своих прадедов мне назови, богатырь!
Пусть, в тебе воплощённый, их дух будет вечен!
Быть не может, чтоб дикий, бесплодный пустырь
Богатырством таким, как твоё, был отмечен!
Я пойду извещу всех в родимом мне крае
О сметённом тобою зайсановском племени.
Назови своё имя, чтоб каждый алтаец
Повторять его мог в самом дальнем колене,
Чтоб алтайцы -- а есть среди них силачи —
Защищали порядок, тобою основанный". —
Так, весь радости полный, ответил Анчи,
Богатырскою речью в душе очарованный.
Весь народ, окружающий богатыря,
Обратился к Анчи, говоря:
„Не сошёл к нам он с неба, окутанный тучей,
Не из недр он подземных явился на свет, —
Сын родного народа, безмерно могучий,
За народ он боролся — не счесть, сколько лет.
Сокрушил он врагов. Его подвиг нетленен.
Его имя великое — Ленин!"
Тут тесней ещё Ленина, дав свой ответ,
Весь народ окружил, словно ласточек стая,
Когда в небе она, щебеча и играя,
Поздравляет природу с весной.

И увидел Анчи: рядом с первой луной
Появилась вторая.
И, усилив торжественный хор
Трёх светил, в их сверкающем строе
С солнцем рядом, над высями гор
Появилось солнце второе.
Пролилися живые, двойные лучи
На смертельно усталое тело Анчи,
И почувствовал он: жизнь к нему возвращается,
И он сам, от двух солнц теплоту их беря,
Наливается силою и превращается
В молодого алтайского богатыря.

После слёз неуёмных,
После тысячи тёмных
И безрадостных лет
Получившие радость,
Увидавшие свет,
В чёрном рабстве рожденные,
Ныне освобождённые
От враждебной расправы,
Мы поём тебе песню, —
Песню чести и славы,
Л е н и н!
Из поколений
Перейдёт в поколенья
Мудрость слов твоих,
Л е н и н!
Вечно будет народ наш
Прославлять тебя в песнях.
Все прекрасные птицы Алтая,
И алтайские сочные травы,
И могучие наши леса,
И алтайские бурные реки
Будут петь о тебе эту песню,
Полюбив твоё имя навеки,
Л е н и н!





Вот снова я на берегу твоём,
Приехал в гости и смотрю, любясь.
Красот хранитель — светлый водоём,
Вместить в душе всё разом не могу я •

Когда тебя я встретил между гор,
Смеялось сердце — так блестели волны.
Не мало лет уже прошло с тех пор,
Но всё ж глаза твоей красою полны.

Как можно не любить тебя? С высот
В тебя, как в зеркало, Алтая смотрят горы,
Ты, словно отдых с гор идущих вод,
Крылатых, и стремительных и скорых.

Когда зима склонится над тобой,
Ты подо льдом, как мощный отзвук грома.
Зелёным летом с шёлковой травой,
Как будто в чаше ты кипишь огромной.

А речку Бию, что спешит вперёд,
Как косу девушке, ты пышно распускаешь,
Из океанских ледовитых вод
Ты много рыбы в гости приглашаешь,

Я равного тебе не знаю, нет!
И в свете будущего вижу пред глазами,
Как по могучей озера спине
Плывут суда, построенные нами.

На берегах твоих по деревням
Сверкают звёзды лампы Ильичёвой...
За мощь твою тебя отметит сам
Народ счастливый благодарным словом:

— За помощь нам мы каждый день должны бы
Слать Золотому Озеру спасибо!

И ты с улыбкой скромной, не хвалясь,
Народу так на те слова ответишь:
— Коль сила не изменится твоя,
Мою ты силу неизменной встретишь.

Деревню каждую, что между гор цветёт,
Я одарю сверкающей звездой.
Чтоб жил советский без нужды народ,
Свой золотой ларец я с радостью открою

То не слова поэта с их мечтой—
Народ работал с небывалой силой,
И, Золотое Озеро, с тобой
Здесь не в последний раз заговорил он.

Ты сотни голосов услышишь вдруг,
Воздать хвалу к тебе сойдутся люди,
Протянутся десятки тысяч рук,
Приветствовать народ счастливый будет.
И родина в той встрече величавой
Тебя навеки увенчает славой!





ВСТРЕЧА

Он стоял на холме высоком
Словно вылит из смуглой бронзы,
Опираясь рукой на палку,
Зорко он осматривал дали.

С гордо поднятой головою
Словно мир пред собою он видел,
Словно мыслью своей глубокой
Постигал он его значение.

А внизу простиралась долина —
Травы радостно волновались,
И по этим зелёным волнам
Островками двигались овцы.

А цветы в несметном богатстве
Украшали её узором,
А дыханье тёплое лета
Полной грудью они вбирали.

Летний ветер взлетал порою,
Доносился голос кукушки,

И нежнейшие ароматы
Наполняли собой долину.

Лес густой стоял полукругом,
Как на свадьбу он нарядился—
В нем черёмуха и берёза,
Кедр, таящий сладкие зёрна.

Меж собою шептались ветки,
Ароматный вдыхали воздух,
А на ветках, в зелёной чаще
Распевали разные птицы.

Из горы на краю долины
Шаловливый родник стремился,
И его неумолчный рокот
Повторяла листва деревьев.

И казалось, что всё живое
Обратило взор к человеку,
И свою хвалебную песню
Для него одного слагало.

Он же, слушая эту песню,
Всю долину окинул взглядом
И запел, наконец, ответно,
Полнозвучно запел, как комус.

До конца я прослушал песню—
В песне не было слов унылых,
И напев её беспечальный,
Как вода золотая, лился.

Пел пастух, что обильно лето,
Что колхозная жизнь счастлива,
И что белыми островами
В поле ходят стада овечьи.

Я к нему подошёл с приветом.
Псы навстречу кинулись с лаем.
— Перестаньте, — цевец им крикнул,
И они, устыдясь, замолкли.

Я спросил его: — Как здоровье?
— Хорошо! А тебе, товарищ?
И по бронзовому загару
Пробежала, как луч, улыбка.

Весь он был, как из смуглой бронзы,
А глаза — сверкали, как звёзды.
Он со мною повёл беседу,
Не спеша говорил, как с другом,
А когда я спросил о прошлом,
У него задрожали губы...

— Для чего вспоминать печали,
Если радостны мы сегодня?
Нужно ль думать о тёмном прошлом,
Если Сталин принёс нам счастье?—

И опять на лице загорелом.
Как пион, расцвела улыбка.
— Раньше я батрачил на бая
И со мной гозорили плетью,
А теперь я живу в колхозе
И приходят ко мне для беседы.
Ты, поэт, приходи почаще,
Я о многом могу поведать.
А пока, мой гость, досвиданья—
Разбредаются белые овцы.
Я пасу их, как ты свои песни...
Разговор пастуха с поэтом—
Это самая лучшая встреча!

Он по-дружески сжал мне руку
И пошёл, собирая стадо.
С нескрываемым уваженьем
Овцы все на него смотрели.

Снова песня плыла в долине,
Песне вторили лес и горы.
Шёл колхозный пастух по травам,
Словно к новым вершинам счастья.



МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Когда молодежь я веселую вижу, —
Как ветка весной, одеваюсь цветами,
Услышу ль от сердца идущее слово, —
Растёт в душе богатырская сила.

В своих руках вы держите счастье,
И в сердце моём разгорается пламень;
Вы наполняете мысли поэта
Яркими красками новой жизни.

И я когда-то был тоже молод,
Но только не видел такого счастья,
Не было в жизни моей веселья —
Нужду и горе терпел я долго.

Помню, с самого раннего детства
Любил я родные алтайские горы,
У дымных костров сидел вечерами
И слушая сказителей белобородых.
Слова золотые их мудрых песен
В память мне глубоко запали.

Когда же взошло над Алтаем солнце,
Вместе с вами я сердцем ожил;
Когда народы узнали счастье,
Душа распахнулась ему навстречу;

И еле слышный когда-то голос
Вдруг зазвенел, как свирель в долине:
Слов жемчуга, что во мне копились,
Теперь дарю я стране свободной.

Вы, молодое цветущее племя,
Жизнь перед вами пути открыла.
За то, что не старится наше счастье
И наше веселье конца не знает.

Споём хвалу баатыру стальному,
Что правит миром со стен кремлёвских!
Когда б ни случилось нам встретиться вместе,
Слова наши будут от самого сердца!

А. КОПТЕЛОВ

ВЕЛИКОЕ КОЧЕВЬЕ



(Главы из второй части романа)

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Вскоре после перекочёвки алтайского колхоза на берега белогривой речки Тургень-Су землемеры остолбили участок для будущего селения. Из Агаша приехали артели плотников и каменщиков, чтобы построить пятистенный дом для сельского совета, который решил переехать сюда, в центр алтайских стойбищ. На самом берегу реки, рядом с густым ельником, заложили фундамент большого дома для первой в этом районе алтайской школы. В середине долины, где белые струи Тургень-Су впадали в Каракол, строили маслодельный завод.

Десятник с переводчиком ходили из аила в аил. Они приглашали алтайцев на работу, обещали им кирпичный чай, листового табак и добротное полотно. Хозяева зиллов медленно пили чай с толканом, по целому дню думали—браться или не братья за незнакомую работу, и только на следующее утро давали ответ.

Первыми нанялись члены товарищества. Они составили две бригады: одна валила прямоствольные лиственничцы, другая на арканах вывозила сутунки к месту постройки. В аилах появилась

19427

БИБЛИОТЕКА

мука. Теперь алтайки не только варили к ужину мясо, но и пекли в золе тертлек из крутого пресного теста.

Борлай Токушев попрежнему просыпался раньше всех. До солнца успевал привести сушину на топливо и два-три листовенничных сутунка, которые складывал рядом с айлом. Потом он начал рубить дрова.

— Жалеет бабу: сам с дровами возится... При такой заботе можно каждый год детей рожать, — завидовали соседки.

Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, Карамчи выходила из айла за дровами, но Токушев сам хватал поленья и уносил в жильё, сам разжигал костёр. За чаем он смотрел на жену и думал:

„Скоро в айле появится люлька. А года через два вокруг очага будет стоять четыре чашки... Хорошо!“

После завтрака шёл на постройку школы и там оставался до обеда. Где-нибудь на другом углу плотник просил помочь бревно поднять или косяк подержать. Борлай первым бросался туда, надеясь увидеть что-нибудь новое. Ему хотелось запомнить каждое движение плотника, чтобы потом самому повторить всё, с таким же проворством рубить углы и пилить плахи и с неменьшей ловкостью вынимать пазы, вставлять косяки. Он давно подумывал о постройке своей избушки. Довольно ему дрожать в айле в такие морозы, когда блекнет небо и раскаляются камни! Он первый постройт избу с большой печью, в которой можно будет выпекать кислый хлеб. В последнюю поездку в аймачный комитет партии сам секретарь Копосов прежде всего заговорил о строительстве:

— Коммунисты ставят себе избы? Нет? Почему? Не умеют, говоришь? Надо учиться строить.

— Я сделаю избушку, — пробормотал Борлай.

— Этого мало, что ты сделаешь. Ты добейся, чтобы и другие себе избушки поставили.

— Попробую...

— Не попробуй, а добейся. Зиму надо встретить в избах. Без этого нет оседлости.

В тот день Борлай думал о прошлом. Он вдруг обнаружил, что в его представлении красота перекочёвок незаметно потускнела. Теперь кочевье не только не увлекало его, но даже думать о новом месте было неприятно. Хотелось прочнее осесть на земле и жить так, как дедам и отцам не снилось.

Однажды Бабинас Собонов, не скрывая своей тревоги, сообщил ему:

— Русские плотники говорят, что закон вышел алтайцев обседлать... Как же так, вместо коней?

Токушев не удержался, захохотал:

— Это когда деревней жить. Оседлостью называется.

Собонов отпрянул от него, а потом посмотрел в глаза, словно проверял, в своём ли он уме:

— Деревней? Алтаец не может деревней жить.

— Советская власть говорит, что деревней жить лучше.

— Глупости!—горячился Собонов.— В айле алтаец живёт здоровый, как лиственница, а в избушке хворать будет. Посмотри, какая сочная и зелёная растёт под солнцем трава и какая бледная и тощая— в нежилом айле.

— А ты посмотри, у всех сородичей хрустят коленки и локти болят.— в тон ему ответил Борлай.— Отчего это? Зимние морозы с малых лет людей наших глодали.

— Я помню, русский учёный человек приезжал в Каракольскую долину, говорил, что в избе алтаец зачахнет и умрёт.

— Это вражьи разговоры, буржуйские. Ты бы лучше лес рубил: зимовать члены товарищества должны в избушках.

— Я уйду. Стану единоличником, если будешь заставлять избушку делать.

— Никто тебя насильно не заставляет... Тебе советуют...

Вечерами у домашних очагов алтайки плакали, отстаивая древний аил.

2.

Пришёл самый большой месяц с долгими днями—июль, все взгорья и долины забросал яркими цветами: на белках рядом со снегом лежали синие поля крупных водосборов, ниже их пламенные пояса весёлых огоньков, ещё ниже—жёлтый альпийский мак, на лесных полянах высокий борщевник раскинул свои белые пушистые зонты, полные мёда, на сырых лужайках взметнулся малиновый Иван-чай и золотистые лилии тихо покачивались на тонких ногах. Цвели горы и долины.

На берегах Каракола, на поливных участках поднялись травы, густые и мягкие. Лучший участок, захваченный когда-то Тыдыком—отцом Сапога, землемеры прирезали к наделу товарищества. К этому участку ехали всадники. Они везли новые косы, как знамёна: древки лежали на плечах, за спинами серебром сверкали стальные лезвия. Накануне на собрании товарищества произошёл многочасовой спор. Токущевы настаивали на том, чтобы на следующий же день был начат сенокос. Им напомнили, что трава—живое существо и её нельзя косить до тех пор, пока она не помрет, а если начать косить сейчас, во время цветения, то весь скот подохнет от такого сена. Борлай сказал, что, когда он сжигал курмежек, его вот так же пугали, а между тем ни он, ни жена с тех пор ни разу не болели.—значит, никаких духов нет, и у травы души тоже нет. Утром, собираясь на покос, многие шептались:

✚ Не хотел я тебя, трава, косить. Меня заставляют.

На лугу стояло несколько вековых лиственниц, настолько высоких, что по всей долине говорили, будто они могучими плечами подпирают грозные тучи. Сохранились эти лиственницы только потому, что на сучья их вешали сено. Каждое лето Сапог посылал по урочищам всадников, которые объявляли, что тогда-то будет день зайсана. В назначенное время все мундусы собирались на луг. В старину женщины рвали траву руками, а в последние годы перед войной косили горбушами. Мужчины руками сгребали траву, свивали в длинные жгуты--толгоки--и вешали их на сучья лиственниц. Так и счёт вёлся:

— Семь лиственниц сена... Десять лиственниц сена...

Правда, перед войной Сапог купил конные грабли, но они стояли на усадьбе, их даже не испробовали на работе.

Косцы остановились у первой лиственницы, расседлали лошадей и сложили перемётные сумы. Выкурив по трубке, вереницей поднимались к верхней изгороди. Дойдя до места, они встали шеренгой.

— Косить будем так, до реки.

Борлай показал женщинам, как точить косы, и начал первый прокос.

Он размахивался широко, но коса не подсекала траву ровно и плавно под самый корень, а сбивала. Так в деревнях мальчишки палками „косят“ крапиву. Токушев останавливался, вытирал лезвие косы мягкой травой и старательно точил бруском, но это мало помогало. Он бросал косу на валок и траву, оставшуюся позади себя на прокосе, рвал руками. Шубу он скинул, верхняя рубаха смокла и прилипла к широкой спине, на бронзовом лбу, точно сера на ободранной лиственнице, выступил пот. Борлай плевал на руки и со всего плеча бил по густой траве. Косари отставали от него, даже Утишка не мог угнаться. Мужчины туго подтянули опояски и спустили шубы с плеч, рукава болтались и заплетали ноги. Немилосердное солнце накаляло голые задубевшие плечи. Женщины косили, сгорбившись, полы чегедеков волочились по земле. Наступив на полу своей одежды, алтайка падала носом в траву. Жена Собонова на первом же прокосе порезала руку и ушла под лиственницу, плача и проклиная товарищество. Она нашла тысячелистник, разжевала и привязала к ране.

Борлай пробовал подсекать траву носком косы, но тогда прокос получался очень узкий и коса часто втыкалась в землю. Он нажимал на пятку--пустая коса взлетала высоко, блестя на солнце.

Первый прокос он едва докосил без отдыха. Река, журчавшая за кустами тальника, обрадовала его. Пошатываясь, он спустился к воде, умылся и посмотрел на свои руки, покрывшиеся мозолями.

Долго вертел перед собой косу и никак не мог понять, что он сделал неправильно, прикрепляя сталь к древку.

Утишка оставил свой прокос недокошенным и подошёл к Борлаю, потрясая косой:

— Ручки привязал высоко. Против пуца ручку надо укреплять. Я помню, так русские делали.

Он поставил косу впереди себя, пяткой на землю и стал щупать свой живот. Все косцы начали мерять и переставлять ручки, но и после этого косы попрежнему плохо подсекали траву.

Шеренга косцов сломалась на первом же прокосе. Не получилось той картины воодушевлённой и дружной работы, о которой много раз думал Борлай. Женщины, прокосив по несколько сажень, отдыхали на валках. Проходя мимо них, Токушев ворчал:

— Косить надо... а вы сидите, как в аилах.

— А что на нас кричишь?—огрызнулась жена Айдаша.—У нас свои мужья есть...

Айдаш, поднимаясь от реки, прикрикнул на жену, она молча встала и взмахнула косой. За ней поднялись остальные. Они проводили мужчин колючими взглядами и долго ворчали. Пока они косили первый прокос, у верхней изгороди сбита ими трава успела завянуть и подсохнуть. От реки пошли они прямо к листовеннице и там развели костры. Мужчины, закончив по второму прокосу, поспешили туда же.

Борлай возвращался с мрачным лицом. Ещё вчера он думал о сенокосе, как о весёлой и приятной работе, а сегодня, увидев угрюмых косцов, понял, что это самый тяжёлый и изнуряющий труд.

„Не лучше ли рвать траву руками, вить из неё толгоки? Эта работа знакома, и меньше будет ропота.“

Чай пили у костров. Алтайки брали толкан полными горстями и высыпали в чашки.

3

Высоко над горами летело беспощадное солнце, готовое выпить воду из рек и расплавить гранитные валуны.

Самая хорошая пора для сенокоса,—подкошенная трава в два дня превратится в душистое сено. Но на берегах Каракола не было слышно ни звона кос, ни людских голосов.

Утром Борлай долго бил обухом топора по обломку казана, подвешенному к коновязи, но из аилов никто не выходил седлать лошадей. Тогда он сам пошёл от жилья к жилью, подымал сонных мужиков, кричал на женщин:

— На покос собирайся...

— Свою бабу гони,—огрызнулась жена Бабиныса.—У меня муж есть, он мной распорядится;

Собонов вступился за неё:

— Такими косами нельзя косить. Я сам все руки выломал.

— Косы хорошие, но мы косить не умеем, учиться надо, — настаивал Борлай, хотя сам ещё накануне подумал, что в Агашском потребобобществе его обманули и что надо съездить и потребовать обменять плохие косы на хорошие.

Колхозников он успокаивал пока тем, что сегодня сам отклепал лезвия на острых наковальнях. Он дважды обошёл айлы и только к полдню собрал народ. Все женщины, кроме Урмат, остались дома.

На лугу снова появилась шеренга косцов. Они изо всех сил били косами по траве, но, чтобы сделать прокосы чистыми, им попрежнему приходилось рвать уцелевшую траву руками. Так продолжалось бы и в дальнейшем, если бы у Борлая не выпал клин из древка. Забивая новый клин, он нажал на обух косы и прямой угол между ней и древком превратился в острый. Окончив ремонт, Борлай плюнул на ладони и так же широко размахнулся. Коса лёгкая, как перо птицы, опустилась в зелёный шёлк, с визгом срезала его и высоко подбросила целую охапку. Борлай остановился и удивлённо посмотрел на косу, будто её незаметно подменили. Восторженно улыбаясь, он начал часто взмахивать косой; трава под ней дрожала, припрыгивала и то и дело ложилась в валок, — прокос стал в два раза шире.

Косцы бежали за ним, любовались чистым прокосом.

Борлай остановился только на берегу реки.

— Вот так же перемените клинья... Дураки мы были, не догадались вчера...

Алтайцы побежали за косами. На берегу реки они пересаживали их, вбивая клинья. Косы сразу становились неузнаваемыми с одного взмаха срезали широкую полоску самой густой травы. Потные лица косцов повеселели. Они раза в четыре быстрее, чем раньше, проходили прокос, но не чувствовали такой усталости, как накануне. За их спинами теперь лежали прямые и широкие прокосы, — три всадника в ряд проедут. Косы тонко звенели. Борлаю нравилось весёлое многолюдье. Догоняя косца, идущего впереди, или уходя от настигающего, он не замечал, как отмахивал прокос за прокосом. На берегу реки втыкал древко в землю, — коса блестела в чистом воздухе, как крыло лебедя, — ложился на гранитные валуны, передававшие телу приятную прохладу, и жадно, большими глотками пил чистую горную воду. Стремительные струйки налетали на него, били о щеку, заливали нос. Борлай приподымался, громко отфыркивался и снова ложился грудью на мокрый камень. Усталость вмиг исчезала, будто её уносила быстрая вода. Он вскакивал с детской лёгкостью, клал косу на плечо и, поднимаясь к верхней изгороди, шагал ши-

роко и твёрдо. Луг выглядел теперь огромным озером: ветерок шевелил свежие валки, и они вздымались в глазах Борлая, как гребни волн. На мнимых берегах озера, по ту сторону изгороди, паслись бараны Сапога Тыдыкова. Сколько их? Говорят, что сам хозяин точно не знает. И говорят это не зря: по уверению стариков, если считать скот, то он будет падать от болезни и зверя. Вспомнив это, Борлай усмехнулся одними уголками губ, подумал:

„Мы сосчитаем... придёт такой день, когда вся долина со всеми табунами и стадами будет наша...“

Он дошёл до изгороди, встал на своё место, за Утишкой, и начал косить.

Прокос его попрежнему был широк, но трава ложилась неровно. Коса угрожающе высывала носок на соседний прокос. Утишка ворчал, часто взмахивая косой, но не мог уйти от Борлая, который был занят своими думами и не замечал его.

Когда коса опускалась в арык, Борлай вздрагивал, как бы просыпаясь от раздумья, и то носком, то пяткой обкашивал крутые склоны. Но вот он выходил на ровное место—думы снова завладевали им:

„В товариществе вырастает дружба, все будут об общем заботиться, как о своём.“

Он споткнулся о кочку и занёс косу с опозданием, когда сосед поворачивался, чтобы сделать новый взмах,—носок косы воткнулся в древко Утишкиной косы. Тот выронил косу и крикнул:

— Осторожнее! Ты срубишь меня, как гриб.

Борлай от неожиданности вздрогнул, обтёр свою косу травой и стал точить бруском.

— Косишь как сонный,—ворчал Утишка.

— Кто сонный? Я? Да я тебя сейчас обгоню.

Сунул брусок за голенище, широко расставил ноги, чуть нагнулся вперёд и начал косить так быстро, как не косил ещё никогда. Коса каждый раз захватывала по четверти и с визгом срезала траву. Утишка тоже нажимал, уменьшая ширину прокоса. Косцы, подымавшиеся от реки, хохотали.

— Вот новая байга!

— Не поддавайся, Утишка!

— Обгоняй, Борлай! Оставь ему травяной язык.

Все перестали косить и смотрели на них. За арыком Токушев начал обгонять Бакчибаева, но ему попал тёмнозелёный куст густой травы в человеческий рост. Пока он скосил этот куст—противник ушёл вперёд на сажень. Борлай наклонился ещё ниже, коса мелькала перед ним. Он дышал часто, на мокрых руках его вздулись жилы. Вскоре он снова настиг бы Утишку, но на его пути оказался камень: лезвие неприятно звякнуло, и носок воткнулся

в землю, обломок взлетел над травой, блеснув на солнце.

— Сломал, а ещё председатели! — злорадствовал Утишка.

Борлай плюнул, бросил на прокос древко с обломком и побежал к коню. Бакчибаев крикнул ему вслед:

— Меня тебе никогда не обогнать.

И, обращаясь к окружавшим его косцам, сказал:

— Председатель должен беречь косы, а он их ломает...

„Эти разговоры на всё лето. Начнут бормотать: „Председатель ломает, так нам простительно“, — подумал Борлай. — Чорт меня дёрнул связаться с ним“.

Он вернулся с новой косой, когда последние лучи солнца ушли из долины. Косцы уже заседлали лошадей.

— Покосимте ещё, — предложил Борлай, — сейчас хорошо: не жарко...

— Плечи ноют: устал, — пожаловался Бабинас.

Его поддержали:

— Короткая летняя ночь — для сна, а не для работы.

— Отдохнуть надо, араки выпить...

Один Тохна Собонов привязал коня за изгородь и пошёл за председателем. Борлай мысленно ругал косцов и стыдил самого себя:

„Не сумел собрать народ. Не сумел. Ты должен добиться, чтобы все члены товарищества шли за тобой. Колхоз — одна семья, председатель — отец. В хорошей семье отца слушаются“.

Догоняя его, Тохна кричал звонким голосом.

— Сегодня выкосили в четыре раза больше, чем вчера! А завтра ещё больше выкосим! Правда?

Над Караколом вставал лёгкий туман. Долина погружалась в сон.

„Такая тишина, когда хвоя лиственниц не колышется, бывает перед бурей, — подумал Борлай. — Завтра налетит ветер: облака горели. Будет древовал“.

Глядя на Тохну, он вслух повторил последние слова. Парень понял, посмотрев в ту сторону, где чернела усадьба Сапога, подтвердил:

— Будет...

Из-за гор подсматривала за косцами взрослая луна. Борлай любил тихие вечера, когда цветущие травы встречают луну особенно тонким ароматом. Он хотел пройти ещё несколько прокосов, а потом натаскать травы под старую лиственницу и заснуть на мягкой постели, но мысль неожиданно перекинулась в аил:

„Наверно, парнишка родился... Бабу надо чаем поить...“

Он крикнул Тохне, который отстал от него на прокосе, и пошёл к коню.

Из аила вылетал поток крупных искр, напоминавших осен-

ний звездопад: в жилие весёлый час—разожжён большой костёр. Борлай поехал рысью.

В аиле было светло, как днём. По левую сторону от очага старухи натирали маслом тельце ребёнка, таинственно бормотали:

— Плечистый тебя не схватит, долгорукий тебя не словит, щекастый не оговорит...

Одна из них повернулась к кровати, на которой лежала роженица:

— Сын! Волосы длинные, хоть сейчас косу заплетай; по жизни пройдёт—как по маслу прокатится.

— Как сизокрылый гусь по голубому поднебесью пролетит,— сказала вторая старуха.

— Не давай глядеть на него тому, у кого глаза холодны; не давай тому касаться, у кого руки холодны,—посоветовала третья.

В это время Борлай отворил дверь в аил, и у него вырвался радостный возглас:

— Сын!.. Сын родился!..

Он осторожно приподнял занавеску над кроватью. Жена лежала на спине. Осунувшееся лицо её было покрыто потной испариной, веки устало сомкнуты, а дыхание—ровное и спокойное. Борлай метался по аилу, не зная, чем ему заняться. Налил старухам по чашке араки, но они сказали, что он сделал это преждевременно.

Вспомнив, что для ребёнка нет зыбки, он схватил топор и убежал из аила; отвязал коня от коновязи и поскакал прямо к лесу. Много раз до этого дня он порывался сделать зыбку, но всегда вспоминал поговорку, вошедшую в обычай:

— Нерождённому ребёнку зыбки не делай.

Одна из старух принесла шелковистой сухой травы, чтобы обложить тельце ребёнка. Иная остановила её:

— Мать говорила, чтобы рубашку надеть: так хочет отец.

Они нашли рубашку, сшитую из старой ситцевой рубахи Борлая, одели ребёнка, завернули в овчину и в ожидании зыбки положили недалеко от костра на мужской половине. Ребёнок кричал, ему сунули в рот кусок бараньего сала на ниточке.

— Пососи, пососи...—бормотала самая старая жена Тюхтеня.— А через три дня мать тебя своим молочком кормить начнёт.

Борлай вернулся с берестой и молодой берёзкой. Из бересты он сделал зыбку и повесил на крюк рядом с кроватью. Берёза была его любимым деревом. Молодую берёзку, первый подарок сыну, он укрепил над зыбкой.

Старухам налил по чашке араки. Они уложили ребёнка в пахнущую лесом колыбель, сели к костру и закурили трубки.

Отец думал о сыне и пожалел, что нет такого обычая, чтобы родители сами давали имена своим детям. Он стал бы звать сына

простым словом—Город, воплощающим мощь и волю. Он подумал, что соседи сочтут это неучтивым, и стал ждать первого гостя.

Борлай посетовал, что у него мало баранов. Заколоть бы теперь самого жирного и позвать всех соседей, выпить им ведро араки,— пусть радуются рождению его сына. Разве может быть что-нибудь более приятное? Растёт сын! Через пять лет мальчик будет держаться за гриву лошади, через следующие пять—будет из малопульки белку в глаз бить, а ещё через шесть-семь лет срубит свою избушку, люди при встрече с ним станут говорить:

— Вон едет лучший охотник, Борлаев сын...

Он подошёл к зыбке и взглянул на крошечное лицо ребёнка, укутанное овчинами. На мягких щеках сына светились капли масла. Отметив широкие брови, выдающиеся скулы и крепкие челюсти, Токушев подумал, что сын похож на него, как луна, отражённая в спокойном озере, на настоящую. Улыбка не сходила с губ отца. Он приподнял зыбку, шутливо сказав:

— Что-то ты очень легкий. Расти скорее. Пионером будешь.

Ребёнок потерял сало, проснулся и заверенчал. Отец взял сына и положил к груди Карамчи. Веки матери тихо приподнялись. Борлай заметил, что вокруг глаз её легли тени, лицо ещё больше пожелтело и одрябло, но во всём теле чувствовалось глубокое удовлетворение, а в лёгком взгляде—благодарность за тёплое отношение мужа. „Мне теперь надо отдохнуть,“—говорили её глаза.

Утренние лучи огнём облили лиственничную кору у дымового отверстия. Борлай добавил дров в костёр. Потом он достал с полки чайник и стал кипятить чай. Когда чай вскипел, он налил жене в новую чашку и поставил на кровать, разыскал сметану и курут. Карамчи осторожно приподнялась. Борлаю хотелось говорить, но он не находил слов и только улыбался. Карамчи видела его радость и отвечала ему слабой, но полной душевной теплоты улыбкой.

Первым гостем оказался Тяхтень. С порога он спросил:

— Почему сегодня долго не звонишь? Разве не собираешься на покос?

Борлай попросил старика:

— Ты сегодня позвони... Собери всех.

Тяхтень посмотрел на зыбку и прошёл вперёд, на почётное место. Он понял, что ребёнку ещё не дано имя, и, в ожидании араки, облизал толстые губы.

Борлай, подавая гостю полную чашку араки, сказал:

— Зверь должен быть с шерстью, человек должен быть с яменем.

Мать новорожденного следила за всеми движениями мужчин. Она едва сдержала сильное желание попросить старика дать ребёнку скверное имя.*

Приняв чашку из рук Борлая, Тюхтень поднял её над костром и торжественно объявил:

— Анчи!*

Борлай повернулся к кровати и повторил:

-- Анчи!

Старик выпил араку, обсосал свои губы и, по старому алтайскому обычаю, обращаясь к ребёнку, произнёс:

Стойбище твоё

Пусть утвердится на берегу быстрой реки.

Жизнь твоё

Пусть потечёт у огней, богатых углями.

Будь сильным, как горная река.

Пятерым не давайся, шестерых побеждай!

Хозяин поднёс Тюхтеню вторую чашку араки. Старик выпил с прежней жадностью и, глядя на отца новорожденного, спел:

Пусть шубу его оближет скот!

Пусть подол одежды его обтопчут дети!

Пусть живёт он, подобно лиственнице, столетья!

Пусть белоснежные зубы его никогда не почернеют!

Тюхтень ждал, что ему подадут ещё, но хозяин взял седло и пошёл из аила. Старик вышел вслед за ним и направился к коновязи, где висел обломок казана.

Борлай поехал в ближайший кооператив купить ситцу на рубашку сыну.

5

Тюхтень изо всей силы бил по обломку казана. Мужчины приподымали двери аилов, чтобы посмотреть, кто звонит, и снова садились к очагам курить трубки, пить араку. Пришлось старику обходить всё селение. Везде его встречали вопросами:

— А где Борлай? Уехал? Хорошо, отдохнём мы сегодня!

— Сказал, чтобы я собрал всех на покос. Поедем, — настаивал Тюхтень.

В одном аиле ему ответили:

— Он будет ездить подарки бабе покупать, а мы — косить. Я не согласен.

Бабинас, собираясь в соседнее урочище араковать, отмахнулся.

— Успеем накосить. Лето ещё всё впереди.

* Алтайки считали, что дети с плохими именами обладают большим счастьем и долголетием. Если первенцы умирали, то следующим новорожденным нередко давали такие имена, как Кучук — щенок, Ит-Кулак — сабачьи уши и т.д.

** Анчи — охотник.

Кроме Тюхтеня, на покос поехали Сенюш и Утишка, но и они косили только до полудня.

— Работать—их нет, а сено делить все придут,—ворчал Бакчибаев.

— Выдерут волосы друг у друга... Добром не разделить,—глубоко вздыхал Тюхтень и тряс головой.

— Надо записывать, кто сколько дней косил,—предложил Сенюш.

— Записывай, коли охота. Но не забудь, что человек человеку—рознь: я в полдня выкошу больше, чем Тюхтень в пять дней.

— Какое же это будет товарищество, если считать, кто сколько сработал?—скрипел Тюхтень.—В товариществе все друг другу помогают: каждый работает столько, сколько у него сил, а делить—поровну.

Возвращаясь из кооператива, Борлай заехал на покос, но косцов не застал. Он прошёл по всему лугу. Сено под вогами шумело. Перевернул валок. Снизу сено было такое же сухое, как и сверху.

— Пора стога делать..

Бросив лошадь нерассёдланной у своего аила, он пошёл к Сенюшу, разбудил его:

— Почему не на покосе?

— Отдыхают,—объяснил Сенюш, зевая и потягиваясь.—Говорят, что сено косить можно осенью, а сейчас—самая пора араковать.

Борлай и сам был непрочь поараковать дней пяток. Главное—никакой заботы, ездил от аила к аилу, распевай песни, и везде тебя будут угощать горячей аракой. Но сенокос нельзя бросить. Государство землю отдало товариществу, доверило, и это доверие надо оправдать, иначе опять жизнь повернёт на старую тропу, опять зависимость от Сапога, бедность, полуголодное прозябание. А что скажут в аймачном комитете партии, если покос останется неубранным? Спросил Сенюша:

— Чем бы заинтересовать народ, чтобы каждый старался больше выкосить?

— Аракой,—шутливо намекнул тот.

— В самом деле! Сделаем большой архыт и будем вливать в него по утрам и вечерам по две, по три чашки с каждого двора. Вечером, после работы,—всем по чашке тёплой араки.

— Можно попробовать...

— Беги, зови народ.

6

На покосе появилось две группы людей: одни косили траву, другие гребли сено. У тех и других было по большому ташауру араки.

Сенюш взял ташаур подмышку и отнёс к лиственнице, стоявшей посредине нескошенного луга, торжественно объявил:

— Когда докосим до того дерева по чашке араки налью.

— Далеко положил: сегодня не докосить,—сказал Бабинас, поторопившийся занять первое место в шеренге.

Лиственница, действительно, стояла далеко. За три минувших дня было скошено в два раза меньше, и потому многие сомневались, что в этот день будут отдыхать у заманчивого ташаура. Но к полудню скосили больше половины намеченного участка. После обеда никто не лёг отдыхать. Даже самые заядлые любители покурить подолгу не доставали из-за голенищ кожаные кисеты.

Тюхтень не разгибался даже тогда, когда бежал начинать новый прокос. Цветы в траве ему казались маленькими ташаурами, медовый аромат сменился острым запахом араки. Бабинас забывал точить косу. Борода его была мокра от пота. У него дрожали колени, болели плечи, но он продолжал косить без отдыха. Тюхтень не мог обогнать, но и не отставал.

Вот и заветная лиственница.

Сенюш поднял ташаур.

— Поработали сегодня дружно,—сказал он,—наливайте по чашке.

Недалеко от лиственницы косцы разводили большой костёр.

7

Борлаю хотелось в этом же году видеть луг изменившимся: вместо толгоков—копны, вместо лиственниц с сеном — стройные стога, как на покосах агашских крестьян. Он решил, что надо срубить на лугу лиственницы: пни красноречиво скажут, что нет возврата к старому. Ему казалось, что это ярче подчеркнёт разницу между прежним владельцем луга и товариществом.

Утишка втыкал берёзовые вилы-троерожки в сухое сено и, прижимая правой ногой заостренный черенок к земле, поднимал огромный пласт. Рога вил не были погнуты, и потому часто пласты вываливались. Сухое сено падало на мокрые от пота плечи, щекотало голую спину и попадало за кожаные штаны. Утишка ругался, утирал ладонью пот и ещё глубже запуская вилы в копны сена.

Борлай принимал сено голыми руками и разбрасывал по стогу, ватаптывал середину, выкладывал края. Сверху был виден весь луг. Вблизи от стога две женщины гребли сено одними граблями, сделанными из сырой берёзы. Навстречу им другие женщины такими же тяжёлыми и большими граблями катили клубок сена. Дальше работало ещё несколько пар. Помня наказ Борлая грести чище, женщины нажимали на грабли,—сырые зубья из лиственничных сучков не выдерживали и часто ломались. Когда

оставалось два-три зуба, женщины кричали Айдашу: ремонт граблей стал его постоянным занятием в первый же день сеноуборки. К светлозелёным валам подъезжал мальчик на коне; к седлу были прикреплены арканы, за арканами волочились во всём своём летнем наряде берёзки, на которые мужчины вилами накладывали сено. Когда на волокушах вырастала большая копна, они арканами привязывали её к комлям берёзок, мальчик ехал к стогу, дальше сено складывали в копны. Ещё дальше — лежали зелёные валки, а в конце луга густая трава кланялась косцам. Люди ли всё это сделали?!

Начав вершить стог, Борлай натоптал сено в середину и вскоре почувствовал себя как бы на высокой болотной кочке: повернёшься неосторожно — свалишься. Он попросил палку и, опираясь на неё, продолжал одной рукой принимать клочки сена, чтобы сделать стог острым, неуязвимым для осенних дождей.

Когда он крикнул: „Довольно!“, Утишка подал ему с четырёх сторон стога четыре берёзки. Борлай связал их вершинками.

— Один стог сметали! К вечеру второй сделаем.

Он ощущал в себе такую же безграничную радость, как в детстве, когда первый раз поднялся на вершину фиолетовой сопки и с высоты её увидел всю долину.

Но мало стог сметать — надо с него спуститься. Оказалось, что это не так-то просто. На какую бы сторону Борлай ни пытался опустить ногу, верхушка стога гнулась, как тонкая берёзка под ветром. Опереться было не на что, Борлай лёг на спину и покатился, утопая в сене. Огромные пласты упали на землю раньше, чем он. Свалившаяся верхушка придавила его, как большая копна.

Айдаш бежал к стогу, кричал:

— Надо его было спустить на аркане!

Борлай, отфыркиваясь, выполз из-под сена и обошёл вокруг стога, недовольно тряся головой. Стог не удался: всюду виднелись бугры и впадины; верхушка походила на разрытый курган.

Утишка шёл за Борлаем.

— Я говорил, что надо зарод метать. Начали бы от лиственницы — никогда бы не упал..

Токушев про себя повторял:

„Сделаем стог... Обязательно сделаем...“

Он мысленно спросил:

„Не лучше ли подрядить русского мужика? Он нас в два дня всему научит“.

И сам себе вслух ответил:

— Сами научимся...

„А как весной землю пахать, хлеб сеять? Тоже сами научимся?“

Утишка подошёл к нему, тронул за плечо:

— Выпьем по одному чоо-чою. Мы заработали...

Морщины на лбу Борлая сделались глубже. Он повернулся к Айдашу и крикнул на него:

— Давай аркан...

Перекинул аркан через стог.

— Держи с той стороны. Полезу снова вершить...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Собрание созвали в недостроенной школе. Алтайцы сидели посреди комнаты на полу. Женщины у порога мяти овчинки и сушили нитки из жил косули. Байрым, которого избрали председателем собрания, объявил:

— Вопрос один: о принятии устава артели.

Мужчины переглянулись.

— А сено делить когда? — спросил Утишка.

— Товарищи! Ячейка совместно с беднотой постановила: пока не будет разрешён вопрос об артели, не обсуждать о сене...

— При чём здесь ячейка? Мы косили, мы и делить будем.

— По скоту делить.

— Если по скоту, то Сениюшу достанется один клочок...

Байрым предоставил слово старшему брату. Борлай рассказал о своей беседе с Копосовым. Привёл его слова о том, что самому старому алтайскому товариществу пора переходить на устав сельскохозяйственной артели.

— Примем устав артели и сено делить не потребуется, — продолжал он, — загородим большой двор, загоним туда всех коров и начнём кормить сеном. Молока будет много: ребятишкам хватит, и маслозаводу хватит. Завод нам за молоко даст много денег, чаю, разных товаров. Работа двинется быстрее. Вместо двадцати человек к скоту пойдёт один, остальные начнут избышки строить...

— Хотел волк вместе с лисицей охотничать, да ничего не вышло: обманула! — крикнул Бабинас. — Ты всех коров себе заберёшь, а нам, как лисица, хвостом махнёшь... и только тебя и видели. Откочуешь за границу.

В упор глядя на Бабинаса, Борлай обиженно вскричал:

— Я откочую? Большей глупости и дурак не придумает... Я откочевался. Хватит. Потряс лохмотьями. Избушку буду строить. А с тобой мне после таких речей разговаривать противно.

Закричали все:

— Ты Борлая не трогай.

— Если бы не он, так попрежнему гнули бы шею перед Сапогом.

— Пусть он и не думает коров отбирать!

— Никто отбирать не будет. Просто спрашивают: кто желает в артель?

Суртаев встал и стукнул кулаком по столу:

— Товарищи! У вас сегодня почему-то очень шумно. Мне, вашему старому знакомому, стыдно за вас.

Все взглянули на него, достали кисеты из-за голенищ и начали набивать трубки.

— Никто вам артель не навязывает,— продолжал Филипп Иванович,— дело добровольное. Силой никого не потянем. Не будем уговаривать и тех, у кого душа расщеплена: сегодня он говорит так, а завтра этак. Какая от него польза артели. Нам трусы не нужны.

Учитель зажёл лампу. Алтайцы третий раз набивали трубки.

2

Два дня спустя Суртаев, остановившийся в квартире учителя заносил в свой дневник:

„Шуму было много. Больше всех кричал Собонов. Он об артели не мог слышать. В середняке его вторая душа заговорила, душа мелкого собственника. А Борлай, несмотря на ругань Собонова, жалел его: мужик работающий. Жадность обуяла. Родному сыну Тохне, который одним из первых записался в артель, ни одной коровы не дал.

Поведение Утишки вызвало у всех членов партии недоумение. Они считали его самым ненадёжным, а он раньше всех заявил: „Остаюсь в артели“. У жены его было заплаканное лицо, она закричала, что в артель не пойдёт. Борлай спросил Утишку: „Что это означает?“ Тот ответил: „Упёрлась баба, не идёт. Всю ночь её колотил—не мог сговорить. Кто-то ей сказал, что теперь равноправие. Мы разделили всё имущество на семь частей: мне одну часть, бабе с ребятишками—шесть частей“. Утишку приняли. Я его до конца не понял. Я сказал Борлаю, чтобы он этому человеку особенно-то не доверялся. Больше половины членов товарищества записались в артель. Думаю, что многие осторожничают, глядя на Бабиноса Собонова.

Первой артели дали название—„Тан-адыптыт“. В переводе на русский язык—„Светает“.

3

Всадники, повстречавшись, сообщали друг другу о новостях:

— Из товарищества сделали артель: всех коров согнали в одно стадо, лошадей—в один табун...

— А Сапог баню построил и созывает к себе молодёжь.

Баня стояла на берегу Каракола. Каждое утро работники Сапога топили её. Воду грели в десятиведёрных котлах. Когда приезжали алтайцы, из усадьбы выходил сам хозяин, приветливо улыбался.

— Баню осматриваешь? Не видал раньше? Советская власть заботится о вас, бедных алтайцах, — тянул он, развёртывая газету. — Нынче летом начали писать в областной газете, что алтайцам нужны бани. Вот тут уважаемый областной секретарь всего славного комсомола написал: „Постройка бань в алтайских урочищах — первоочередная задача“. Я выполнил волю уважаемого секретаря.

Он торжественно свёртывал газету и входил в просторный предбанник, где висело большое зеркало.

— Взгляните на себя в это зеркало. После бани опять посмотритесь: поймёте, почему секретарь комсомола заставляет мыться.

Кочевники перед зеркалом гладили свои щёки, прищуривали глаза, показывали языки.

Приходил Чаптыган Сапогов, которого как байского сына исключили из Омского сельскохозяйственного института, раздавал всем по куску ядрового мыла, говорил:

— Это мой отец дарит тебе. Здесь помоешься и домой увезёшь.

Алтайцы нюхали мыло и морщились, пробовали языками и потом долго отплёвывались.

Сапог показывал на сына:

— Он каждый день моется. Смотрите, какое у него тело мягкое да белое. Баня даёт здоровье. Потому я вас и приглашаю.

Он сам намыливал парням головы, тёр спины вехоткой, обливал тёплой водой, приговаривая:

— Мне отец говорил, что всех алтайцев надо любить и жалеть. Обижать никого нельзя. Есть мудрая пословица: „Чужой аил не раскрывай, — свой будет закрыт“.

Чаще мылся сам, а молодёжь стояла вокруг него.

— Нужно вот так... — учил намыливать голову, лицо. — Смотрите, какой я чистый стал. Всю грязь мыло снимает. Пробуй.

Банная теплота располагала к Сапогу. Алтайцы с криком и хохотом плескали на себя и друг на друга теплую воду.

— Поглянулось? — спрашивал хозяин. На следующее лето венников берёзовых приготовлю: будем париться. Хорошо?

Из бани алтайцы бросались прямо к зеркалу:

— Другим стал! Лицо-то какое краснсе!

— Из бани чистыми вышли! Ни грязи, ни пыли, — говорил Сапог. — Пусть совесть ваша будет так же чиста перед народом. Бедных жалеете и богатых из рода вашего уважайте.

Провожая молодёжь до заседанных лошадей, Сапог снова доставал газету:

— Тут напечатано, чтобы алтайки тоже мылись в бане. Пусть ваши матери и сёстры приезжают. Мои жёны научат их мыться. Мне бани не жалко. Сердце моё болит о народе.

Он смотрел в глаза парней, проверяя какое впечатление произвели его слова.

— Хотя лицом я стар, но сердцем юн. Я люблю молодость и молодёжь. Люблю оины. Когда наступит полнолуние, приезжайте ко мне. Мы устроим весёлый оин. Мой сын приглашает вас к себе в гости. Наши песни будут слышны по всей долине.

4

У заплота стояли большие ташауры, украшенные простым орнаментом и серебряными родовыми знаками Сапога Тыдыкова. Рядом — деревянные чашки. Алтайцы подходили к ташаурам, наливали, кто сколько хотел. Выпив, утирали губы ладонями и прищёлкивали языками. А затем, встав в круг, покачивались из стороны в сторону.

На небе показалась луна. Сапог подтолкнул сына:

— Запевай.

Чаптыган запел о родном Алтае, восхищаясь красотами его долин и гор, восхваляя минувшее десятилетие, когда „спокойно и сытво жили алтайцы“.

Каждую минуту появлялись новые всадники. Одни расседывали лошадей и отпускали на луг, другие привязывали к коновязям.

Сапог на короткое время выходил из круга и шептал Ногону:

— Новеньким принеси кабак-араки. Да побольше. Я хочу осень превратить в весну.

Неподалеку горели костры. В котлах варилось жирное мясо.

Вскоре больше половины неба закрылось чёрной шубой хмурых облаков. Луна нырнула туда, будто пряталась от холодного ветра.

Сапог, раскачивая круг, сам запел:

Будет ли расти зелёная пихта,
Если у ней обрезать сучья?
Будет ли жить богатый человек,
Если у него обрубить руки и ноги?

Подхватывали вяло. Не было той бодрости, которую хотел бы видеть Сапог. Он снова подозвал Ногона и послал его за водкой.

— Костры разведите рядом.

Распорядился и опять запел, повышая голос:

Подсеченное дерево
На корню засыхает,
Разорённый человек
Позора ве вынесет.

Голосов всё меньше и меньше, шаг стал вялым, колебания незружными. Почему водка не разожгла в молодёжи веселья? Может быть, потому, что неприятная погода, тёмная ночь и острый зетер. Сапог крикнул:

— Чаптыган! Угощай гостей мясом.

В это время послышался тонкий, высокий голос:

Разве жил бы старый волк,
Если бы он не драл баранов?

Звонкие голоса подхватили песню:

Разве в лесу выросло бы дерево,
Если бы оно не душило молодые побеги?

Сапог остановился, крикнув:

— Кто поёт песни грусти? Кому они нужны? Давайте веселиться! У меня много кабак-араки, много мяса варится в котлах!

Изредка из темноты прилетали снежные крупинки.

Тот же голос дерзко выводил:

Серого волка убьём —
Бараны будут целы;
Старое дерево срубим —
Молодые побеги вздохнут легко.

Сапог фыркнул и бросился к запевале. Узнав в нём Тохну, рывкнул:

— Замолчи!

И, топая ногами, прохрипел:

— Я отца твоего в молодости от голода спас, на коня посадил, а ты на меня лаешь.

— Чем плохая песня? — нарочито наивным тоном спросил парень. — Ты говорил, что волков надо бить, по два барана за убитого волка давал.

Все остановились, прислушиваясь.

Сапог не мог вынести оскорбления. Какой-то мальчишка называет его на „ты“ и насмехается!

— Уходи со своими собачьими песнями! — прохрипел он, задыхаясь, и потряс кулаками.

— Из оина прогонять нельзя, — смело возразил парень.

Чаптыган подошёл к Тохне сзади, схватил его за воротник и поволок.

— Ребята, бьют! — крикнул парень.

Откуда-то сразу взялись палки и камни. Началась свалка. Трудно было разобрать, кто против кого, и потому первое время сторонники Сапога бездействовали. Недалеко от костров била Чаптыгана. Кто-то повернул котлы, и они укатились к реке. Костры быстро угасали. Темнота овладевала лугом.

— Вот тебе за песни против нашей власти! Вот! — приговаривал Тохна.

Сапог бежал на крик сына с десятком надежных людей.

Тохна и его товарищи бросили Чаптыгана и схватили по головешке.

Ветер бросал жгучий снег. Начиналась первая метель.

5

Борлай Токушев приехал в Агаш, чтобы пригласить кого-нибудь из русских колхозников, хороших пахарей, на продолжительную работу в артель „Светает“.

— На такое дело принуждать людей нельзя. Будем добровольца искать да такого, чтоб у него сердце горело и чтобы мог он вас всему землепашеству обучить, — сказал ему Евграф Герасимович Черепухин, старый партизан и председатель колхоза „Искра“. — Ты вот что, друг, приходи сегодня к нам на общее собрание, докладёц о своём колхозе сделай. Ладно?

На собрание колхозников в народный дом пришли и такие люди, которых никто не приглашал, которые издавна прослыли крикунами и горлодёрами. По правую сторону прохода на шатких скамьях сидели мужчины, по левую — женщины.

Евграф Герасимович, избранный председателем собрания, бросил папаху на стол.

— К порядку, товарищи. Прекратите семячки, — настойчиво попросил он и, оглянувшись на Борлая, объявил: — Слово имеет председатель алтайской артели „Тан-адыптыт“. Расскажет, как они живут артелью.

Борлай как был в шубе и шапке, так и подошёл к столу. Из глубины зала, где полумрак сгущался табачным дымом, крикнули:

— Крыша на дому хорошая — не промачивает.

Он не понял намёка и стал спокойно рассказывать о жизни артели, о первом сенокосе, о том, что неумело сметанное сено в стогах и зародах наполовину погнило. Он сообщил также о том, что молодой колхоз решил строить избы, и потому просит дать, не только хорошего пахаря, но и плотника. Потом, вспомнив обычай русских, он снял шапку и, поклонившись собранию, продолжал:

— Русский стал братом алтайцу, а алтаец—русскому.

— Серый волк тебе брат!—крикнул рыжебородый мужик, пашня которого отошла к молодому алтайскому колхозу „Красный Октябрь“.

— Брат, брат,—поспешно повторил Борлай, не поняв злой реплики.

— Вопросы к докладчику есть?—спросил председатель.

— Есть,—отозвался человек с жёсткой, как помело, бородой.

— Будет ли какой толк? По моему соображению, сомнительно, чтобы толк получился.

— Кому жизнь своя не мила, тот согласится ехать,—пробурчала женщина в большой серой шали, концы которой были завязаны на её голове и торчали, как рога.

— Заткните рты кулацким грммофонам!

— На охоте или за скотом он лучше русских.

Председатель встал, опираясь на длинный стол.

— Тут были, товарищи, кулацкие выкрики,—начал звонко, с возмущением и погрозил пальцем.—Но и некоторые коммунары бормотали: „У алтайцев шубы вшами усыпаны, как бисером“. А у вас нет вшей? Нет, я спрашиваю? Найдутся. Посмотрите на себя повнимательнее.

Он стукнул кулаком по столу.

— Это царизма проклятая навязала нам, русским, такие взгляды на алтайцев. Здесь алтайский председатель правильно высказывался насчёт братства всех трудящихся.

Речь он закончил спокойно:

— Насильно никого не пошлём. Добровольца спрашиваем. Надо пособить алтайцам, к не знакомому им делу приставить? Надо.

— Слов нет, нужно их обучить хлебопашеству!—крикнул из зала.

Из дальнего угла пробирался к проходу человек с широкой лысиной и красным лицом, как бы окутанным огненной бородой. На сцене он поклонился Борлаю:

— Доброго здоровьица! Вот и опять нам свидеться довелось.

Повернулся к председателю и попросил:

— Пиши мне, ясны горы, бумагу: я по своей воле хочу им подмогнуть.

— Ты, Миликей, у них всех коней переколотишь,—посмеялся чубастый парень.

Минувшим летом Миликей Охлупнев ездил в город, за посудой для коммунальной столовой. На обратном пути он решил на часок завернуть к дальнему родственнику в Шебалино. Только он заехал в ограду, как из дома выбежали пьяные мужики, загалдели: „Долгожданный гостенёк! В самую пору прикатил!

Прямо на свадьбу. Завтра молодуха стряпает блины". Миликею оторвали от телеги и, взяв под руки, увели в дом. Коня его отправили куда-то на горы, в табун, а хомут и дугу спрятали. Два дня Миликей гулял на свадьбе, а на третье утро начал ругаться с пьяными родственниками, кричал на всех, чтобы ему немедленно привели коня. Потом он пригрозил кулаком хозяину дома. Лишь на четвёртый день его отпустили. Выехав за село, он лёг на воз и сразу же уснул. На перевале было грязно, телегу с громоздкими ящиками потянуло вправо, под откос. Конь пошёл тоже правее. На ухабе телега сорвалась с передка и перевернулась. Из ящика с фарфоровой посудой посыпались осколки. Эмалированные чашки покатались под гору. Сам Охлупнев отлетел далеко в сторону и упал вниз лицом в холодный ключ. Выбравшись из грязи, он побежал догонять коня, который ушёл с одними передками. Миликею было и больно и совестно. Он знал, что ему будет два выговора: от председателя — за то, что долго ездил, и за то, что разбил посуду, и от жены — за выпачканную грязью одежду. Догоняя коня, он ухватился за одну вожжину и замахнулся большим волосатым кулаком. Резвый конь, вздёрнув голову, помчался в лес.

— А, ты не слушаешься! — крикнул Миликей и левой рукой схватил непокорного за горячие ноздри, точно медведь лапой, а правой с полразмаха ударил между ушей.

Конь упал на передние ноги, дрогнул и замертво повалился на оглобли...

Об этом постыдном случае и напоминал собранию чубастый парень.

Миликей спокойно сказал:

— На каждого человека может раз в жизни дурь найти. А об алтайцах неправильно здесь кричали. Худые слова. Сердце человека узнешь, когда в беду попадёшь: ты всякую надежду выкабкаться потеряешь, а он тебя вдруг выручит. Я узнал сердце этого мужика, — показал глазами на Борлая. — Все, должно быть, слышали, как он пособил мне Макриду из реки выдернуть.

Председатель постучал карандашом по стеклянному обломку с чернилами:

— Товарищи! Охлупнев даёт слово работой в алтайском колхозе загладить свою вину перед коммуной. Есть предложение утвердить...

Всадники ехали шагом. Разговаривали о Каракольской долине, о Сапоге Тыдыкове и о постройке артелью „Светает“ избышек и тёплых скотных дворов. Мысли всадников совпадали. Это

радовало Борлая. Он чувствовал внутреннюю близость к своему спутнику и готов был назвать его братом.

— Миликей, ты в партизанах ходил?

— Ходил, ясны горы, ходил! С первых дней! Во втором полку, в третьей роте.

— В партию давно записался?

Охлупнев сказал, что он беспартийный. Борлай недоумённо пожал плечами. В последние годы к ним много раз приезжали русские и помогали проводить собрания или налаживать работу сельсовета и кооператива. Но то были партийцы или комсомольцы. Их посылала партия. А Миликей сам пожелал. Это было приятно и удивительно.

Борлай поехал рядом с Охлупневым и, заглядывая в его глаза, спросил:

— А почему в партию не вступил?

— Скажу я тебе, паря, напрямик,—начал Миликей Никандрович,—в первые-то годы я зелёным был для неё, для партии-то. В политике плохо разбирался. Опять же партия в бога верить не даёт, а в моей голове в ту пору туман был. „А вдруг,—думаю,—он есть?“ После того обида у меня вышла. Написал анкету, услали в город, а оттуда отказ пришёл. Царапнуло меня это больно по сердцу. По лесам я бегал, Колчака бил, жисти своей не жалекчи,— а в партию мне пошто-то пропуску нет?

Выслушав торопливый рассказ о случае на перевале, Борлай прогянул:

— А-а-а, вот как было! Я там на собрании, худо понимал, думал: байского коня ты бил.

Охлупнев взял гриву коня и начал машинально плести косы. Своих колхозников ему не было стыдно, как этого алтайца. Теперь, когда ему предстояло научить землепашеству целый алтайский колхоз, он чувствовал на себе большую ответственность. Он думал о том дне, когда научит вчерашних кочевников сеять хлеб. Жене он сказал, что поехал месяцев на семь, но про себя решил, что не вернётся до тех пор, пока не увидит в Каракольской долине колосющиеся хлеба. Ведь он перед всем собранием сказал, что работой в колхозе „Светает“ загладит свою вину перед коимундой.

— Ты будешь жить в моём аиле,—предложил Токушев.

— Согласен. Я холода не боюсь. Но завтра же начнем основывать избушки.

7

В аиле Борлая Миликей выпил пять чашек соленого чая с молоком и толканом. Карамчи предложила ему шестую, а мужу сказала по-алтайски:

— Этот русский—хороший человек. Не гнушается нами и наши обычаи уважает.

— Я не брезгливый: всё могу есть, — сказал Миликей на ломаном алтайском языке.

Карамчи покраснела и отвернулась к полке с посудой.

Поднимаясь на ноги, Охлупнев схватился за коленку:

— Ой, ноги отсидел, ясны горы! Надо нам с тобой поскорее столом обзаводиться. А вместо стульев чурки выпилим.

— Надо, — согласился Борлай.

Они пошли осматривать место для построек. К ним присоединились колхозники.

— Вот этак у нас улочка ляжет, прямая-прямая, — певучим голосом тянул Миликей Никандрович. — По обе стороны поставим избушки. Встанут они у нас, как весной девки на лугу!

— Кто хочет избушки строить? — спросил Борлай.

Комсомольцы сказали, что у них уже заготовлен лес.

Борлай, взглянув на Утишку, спросил:

— Ты почему сегодня такой мрачный? Избушку будешь строить?

— Нет. Мне хорошо без избушки.

— А где ты жить будешь?

— В аиле.

— Ты же говорил, что тот аил не твой, а жены. Сам в колхозе, а живёшь с единоличницей. Неладно.

— Я убеждаю её записаться в колхоз.

— Будет взм спорить! — умолял Миликей, дёргая председателя за рукав и, когда тот замолчал, он начал приподнятым тоном: — Я думаю здесь на бережке баньку срубить, большую по-белому. Вечерком попаришься всласть и сразу в речку бухнешься. Люблю так!

— А годочка через два, — увлекательно тянул он, — мельниченку построим. Люблю мельницы! Вола-то под колёсами круглый год поёт. Привод к мельнице поставим и хлеб молотить начнём. Опять же пруд хороший. А на пруду — гуси! Вот как мы тогда заживём, ясны горы!

Борлай переводил его слова с пятого на десятое. Услышав незнакомое слово, Охлупнев схватывал Токушева за рукав:

— Как? Ну-ка, повтори. А по-русски как это зовётся?

Они перебрались на другую сторону Тургень-Су.

— Здесь добрецкое местечко для пригонов!.. скот держать, коров, — продолжал Миликей.

Оттуда они пошли вверх по долине. Охлупнев размахивал руками, проводя по земле воображаемую черту:

— Вот так поскотину згородим, там для скота выгон коровный, а тут — пашня, сенокос.

— Ячмень здесь вырастет хороший?

— А как посеешь так и пожнёшь.

Миликей попробовал землю носком сапога, потом выхватил из-за опояски топор, вырубил ком дерна и долго мял в руках:

— На такой земле, ясны горы, можно жить счастливо, коли пахать не лениво. Новина. Непашь. Тут и пшеничка вымахает в рост человека, а колосья будут, как пуховалки на камыше. Пшеничка свежу земельку любит.

— Пахать не успеем. Земля стынет, — сказал Борлай, потряхнув головой. — А плуг Айдаш завтра привезёт.

— Плуг — плугом, а хомуты где, шлеи? Нету. То-то и оно-то! Надо кривые берёзовые комельки искать, клещи из них вытесать, а потом и хомуты вязать.

Он ещё раз вырубил ком дерна.

— Хороша целина! А ломать её доведётся весной. Вот-вот настоящая зима брякнется. Гуси нынче давно пролетели, — закончил он по-алтайски и махнул рукой на юго-запад, откуда уныло смотрело закутанное в морок, тусклое солнце.

8

Миликей спал возле очага, на мужской половине. Он проснулся, когда в аил опустились мрак и холод, надел огромную шапку из козьих лап и, открыв дверь, посмотрел на небо.

„Ого, звёзды утро чувят! „Коромысло“ один конец кверху вскинуло, и звёздный конь вокруг прикола обежал“.

Он кивнул головой на Большую Медведицу. Захлопнув дверь, крикнул хозяину аила:

— Вставай. Надо избушки основывать...

Вода в ведре покрылась толстой коркой льда, и Миликей побежал умываться на реку. Вернулся раскрасневшийся, бороду пальцами расчесывал и побрякивал, словно обжигался:

— Знатные морозцы нажимают!

Карамчи поставила чайник на угли.

— Мы сейчас чай пить не будем, — сказал Миликей. — Надо поработать, а потом чаевать.

На рассвете неподалеку от аила они положили толстые окладники первой избушки.

Карамчи кормила сына грудью и вполголоса пела:

Пусть люлька твоя
Обогатится побрякушками,
Пусть будут у тебя
Младшие братья.

Она наклонилась к ребёнку и поцеловала его в пухлую бронзовую щёку.

Насытившись, сын лежал на её руках и улыбался так при-

ятно, как могут улыбаться только младенцы. Мать прижала его к себе. Её радовало, что ребёнок растёт крепким и здоровым.

Дверь скрипнула. Утишка смело перешагнул порог, вызываясь поздоровался с Карамчи и по-хозяйски, не дожидаясь приглашения, сел на мужской половине, „выше огня“¹, куда садятся только мужья да особо почётные гости.

— Где твой любимый муж?

— Уехал в лес за мхом для избушки, — неохотно ответила хозяйка.

Она украдкой взглянула на лицо нахального гостя: „Пьян“. Почувствовав на своём лице его липкий взгляд, она отвернулась, чтобы уложить ребёнка.

— И ты согласишься жить в избе? — спросил гость, прищурив глаза.

— Где будет жить муж, там и я.

— В избе подохнешь...

— Русские не подышают.

— Они привыкли. А вы, алтайки, будете хворать.

— Не беспокойся, не захвораем.

— В аиле лучше. Я для тебя новый аил поставлю, приходи.

— Тьфу! Курмес!

Карамчи схватила головешку и замахнулась.

— Ты не сердись. Обдумай всё. Я о тебе забочусь.

— Мужу скажу...

— Не посмеешь, — холодно уронил Утишка.

Он ушёл, хлопнув дверью.

Борлай в сумах вёз мох. Утишка поджидал его, усевшись на окладники избушки:

— Всё утро ищу тебя. На бабу мою самообложение наложили. Денег с неё много требуют.

— Это дело сельсовета.

— Наверно, ты сказал Байрыму, чтобы он больше наложил?

— Ничего я ему не говорил. В его руках писанный закон.

10

Хозяйственные заботы не покидали Миликея даже ночью.

Во сне ему представлялись избушки дымящимися, дворы — построенными, поскотина — загороженной; он видел весеннюю пахоту и густые хлеба, закрывшие землю зелёным шёлком. Утром вскакивал с тяжёлой головой. Его радовало, что строительство шло быстро, не приходилось торопить алтайцев. — они сами то и дело спрашивали, как лучше выполнить ту или иную работу.

¹ — „Выше огня“ — между очагом и задней стенкой аила.

Когда заготовили достаточное количество леса и основали избушки, Охлупнев съездил в село и привёз маховую пилу. Вскоре напилили плах. Пол в избе Борлая настлали ровный, строганый. Около избушки толпились люди, заглядывали в окна.

— Хорошо, только... душно будет, — сказал Тюхтень, усевшись посреди пола.

— О, да тут очаг развести нельзя.

Карамчи покачала головой. Соседки посочувствовали ей:

— Без очага какая жизнь...

Карамчи ответила им:

— Ваши мужья тоже строят. Вместе будем горе мыкать.

— Где чай станем кипятить? Араку где будем гнать?

Слова женщин заставили Борлая призадуматься. В самом деле — где же гнать араку? Ведь жена в угощении гостей не захочет отставать от других...

„Придётся аил рядом с избой поставить“, — решил он.

11

В избушке Борлая на полу — ворох глины. Глину черпали ведрами, высыпали за опечек и старательно колотили большими деревянными молотками. Миликей изредка бросал туда щепотку соли.

— Это зачем делаешь? — спросил Тохна.

— А чтобы лучше жар в печке держался. Печка тепленька — хозяину миленько.

Вечером Миликей Никандрович затопил новую печь, уселся на чурбан против чела и смотрел, как разгораются дрова.

— Дым пустил! Теперь бы мне Маланья Ивановна, дражайшая жёнушка, рюмочку водочки поднесла. На первый дым полагается.

Он повернулся к Борлаю, дёрнул его за рукав:

— Я слетаю за своей бабой, ясны горы! Теперь она согласится приехать: избушка есть.

— Верно, вези сюда бабу.

— И привезу. Я ведь ещё не одряхлел.

Он встал и налил воды в глубокое корыто.

— А покамест нет здесь Маланьи Ивановны, придётся мне, паря, самому за бабье дело взяться.

Он всыпал муки в корыто и стал прилежно разбалтывать.

На следующее утро он выкатывал калачи. Тесто было жидким и плыло во все стороны. Пекарь поторопился вытаскать из печи головёшки и посадить хлеб. Калачи расплылись, превратившись в плитки, сверху корявые, будто по сырому хлебу набродили куры. Но Охлупнев не унывал:

— Не беда. Всё-таки это хлеб: Помаленьку научимся, до всего дойдём, ясны горы!

Маленькую булочку — „заскрёбышек“ — бросил под печку.

Борлай удивлённо посмотрел ему в лицо и спросил холодно:
— Ты это кому давал?

На щёки Миликея Никандровича как бы легли осенние осиновые листья. По одному взгляду Борлая он понял, что алтайца не обманешь, да и за обман потом сам себя ругал бы целую неделю, но сознаться сразу не мог и сам себе выговаривал:

„Приехал учить хозяйствовать по-новому, жизнь помогать перестраивать, а сам в домовых верю“.

Токушев ждал ответа. Охлупнев заговорил так, как лопочут провинившиеся дети:

— Ему... Ну, как бы тебе сказать...

— Доброму духу или злему?

Миликей Никандрович чувствовал себя глубоко виноватым и прятал смущённый взгляд. Это вернуло Борлая спокойствие, верхняя губа его дрогнула, готовая растянуться в усмешке.

— Запечному, гром его расшиби.... Мать моя говорила: „Не жалея заскрёбушки запечному — хлеб станет лучше печься“.

— Миликей, не говори так. Сам знаешь, что всё это — глупость.

— Знать-то я знаю, что... нет ни бога, ни чорта. А почему заскрёбышек бросил — сам себе объяснить не могу.

— Я не верю, а ты всё ещё веришь. — упрекнул Борлай.

После этого Охлупнев несколько дней, разговаривая с председателем, морщился от мысли:

„Он долго не забудет про заскрёбышек. Чорт меня угораздил бросить!“

Глава шестая

1

В ту осень Сапог Тыдыков часто бывал в сельсовете. Первый раз он поехал туда, когда ему объявили о самообложении. Своего стремянного, Ногона, он оставил ожидать в долине.

Сапог едва успел перешагнуть порог сельсовета, как Байрым Токушев строго спросил его:

— Почему самообложение не платишь?

— Какое такое самообложение, мудрый человек? Я ничего сам на себя не накладывал.

— Собрание наложило. Ты не хочешь платить? Табуны твои продадим с торгов.

— Я советскую власть люблю как родную мать. Всегда с радостью выполняю все приказы. Сколько с меня полагается?

— Тысяча семьсот.

— Я такую сумму платил. Сегодня же привезу все квитанции. Второй раз требуешь? Это и есть самообложение?

Борода Сапога дрожала, на щеках выступили бурые пятна, но он опять сдержался и продолжал тем же покорным голосом:

— А ты, мудрый человек, заботливый председатель родного совета, не забыл, что у нас четыре хозяйства? Как же, давно четыре... Я с сыном и жёнами разделился. Они не хотят по-советски жить. А я по-старому не могу... Сердцу моему противно.

— Акта нет. Без акта ряздел не считается,—буркнул Аргачи.

Минуты две Сапог теребил тощую бородёнку и совал её в рот,—жёсткий волос хрустел на зубах,—спрашивал себя, куда бы поехать с женой, но в больной голове не мог найти ответа. Раздумье оборвал взмахом кулака:

— До завтра поеду.

Ного в ожидании Сапога ездил по долине взад и вперёд. В ту минуту слуга оказался впереди своего хозяина. Сапог придержал коня и громко закашлял: не увидел бы кто-нибудь, что стремнявый, забыв о почтении, едет впереди главы сеока мундус.

Ногон оглянулся и скуластое лицо его, с глубокими морщинами сразу стало тёмнозелёным, а тощая бородёнка задрожала.

„Старый дурак проглядел...“

Обругав себя, он круто повернул коня и поехал навстречу хозяину, почтительно склонил голову, как делал в то время, когда все считали Сапога зайсаном.

— Ворон у тебя глаза не выклевал?—крикнул Сапог, проносясь мимо слуги.

Ногон спрятал лицо в гриву лошади. Потом он поехал сзади хозяина, на почтительном расстоянии, чтобы не умалить его достоинства.

2

Уезжая из дому, Сапог сказал Хоже, первой жене, толстой беззубой старухе с отвисшими мешками жирных щёк и тощими сивыми косами, которые сплошь были унизаны золотыми монетами:

— Ты лежи...

При этом он глазами указал на кровать.

Старуха лежала до полудня, не вставая. Вторая жена, тридцатилетняя Эрпечи, круглотелая теленгитка с маленьким покатым лбом, крошечными угольками глаз и красными щеками, с завистью посматривала на неё. Когда Хожа на минутку вышла из юрты, Эрпечи ловким барсом прыгнула на широкую кровать, растянулась по перине, а правую руку запустила под большую растрёпанную подушку. Дыхание стало коротким и частым. В глубине заплывших жиром глаз блеснуло пламя. Сквозь тонкий полотняный мешок она полной горстью схватила монеты. Полтинники шевелились в её руке и тихо звенели.

По быстрым и тяжёлым шагам Эрпечи узнала мужа и повер-

нулась на спину, спрятав руки в складки тяжелого малинового чегедека.

Вошёл хозяин, взгляд сразу кинул на кровать, потом—на женскую половину.

— Где старая? (Он никогда не называл жён по имени).

— Сейчас придёт.

Эрпечи прыгнула к резному шкафу с чашками.

Сапог остановил её:

— Чаю не хочу.

Сел к очагу, тихо стуча зубами о нефритовый чубук монгольской трубки.

Когда вернулась старая Хожа, он сурово объявил:

— Отделяю вас всех... четыре хозяйства в сельсовете запишут... Жить—в разных юртах...

Хожа уронила мешок—пшено рассыпалось по ковру, словно бисер: нижняя челюсть её задрожала, тусклые глаза утонули в слезах:

— У меня сын. Ты не должен меня выгонять.

Эрпечи рухнула на ковёр, спрятала мокрое лицо в широкие рукава шубы:

— Какая я несчастная! Чем я не угодила Большому Человеку? Почему он берёт третью жену?

Сапог топнул ногой:

— Перестаньте...

Молодую сам поднял с земли и уложил на кровать, сказав:

— Пойми, что я для начальства делюсь... Днём четыре семьи, а ночью—одна.

— А где будут мешки?—спросила Эрпечи.

— Об этом не тебе беспокоиться!—прикрикнул Сапог.—Всё на вас запишу: с женщин спрос меньше. Себе и Чаптыгану ничего не оставляю.

Распорядился, чтобы позвали Ногона. Услышав сердитый голос хозяина, старик на четвереньках вполз в юрту.

— Возьми с собой лучших пастухов и табуны породистых лошадей угони за хребет. Держи табуны от худых глаз подальше, пока я не позову обратно. Возмёшь ружья и припасы. К аилам не показывайтесь, чтобы никто не знал, где вы...

3

Две недели в усадьбе работали агацские плотники: двор разделили высокими заплотами на четыре части, поставили новые ворота, к дому пристроили второе крыльцо. Чаптыган поселился в нижнем этаже. Сам Сапог пил чай и обедал наверху, в большой комнате, а вечерами уходил в новую войлочную юрту Эрпечи и оставался там до рассвета.

Мешки с золотом исчезли: никто, кроме Ногона, не знал, куда их закопал хозяин.

Раздельный акт Сапога был первым в сельсовете, секретарю пришлось заводить новую папку.

Через несколько дней Сапог принёс в сельсовет заявление:

„С первых дней прихода советской власти, — писал он, — я увидел свет в горах. Сердце моё сказало: „Вот настоящая народная власть, при ней в каждом аиле будет жить счастье“. Я стал помогать советской власти жизнь направлять. Раньше всех организовал товарищество, чтобы народ знал, как лучше жить. Но мне советская власть сказала: сердце богатых людей не может быть чистым. Много ночей продумал я и понял, что это — золотые слова. Народ увидит счастье тогда, когда все будут бедняками и возьмутся за постройку новой жизни. Я стал бедняком. Согласно раздельного акта, имущество моё: половина дома, конь и корова. Больше ничего не имею.

Прошу вернуть мне как бедняку, самому неимущему, голос. А также прошу приказать колхозу „Светает“ записать меня в свою семью, как активного работника“.

Байрым скомкал заявление и швырнул в пачку, на пылающие поленья.

— Голос тебе не возвратим.

— Почему?

— Потому, что ты — бай.

— Какой бай! У меня нет ничего... — ухмыльнулся Сапог. — Я — здесь первый пролетарий. Грамоту знаю, пользу всем окажу...

В маленькой комнате грянул хохот.



И МУХАЧЕВ

ГОРЫ



Вот наши горы! Любо поглядеть:
Лесисты, зелены!
Здесь водится медведь.

Когда он пробирается тайгою,
Во след ему цветы летят пургою,

Хрустят колоды, слышатся обвалы...
Порой здесь появляются маралы

Между поджарых ёлок, точно в раме,
Покачивая синеву рогами.

И от горы
И до горы кочуя,
Там, на поляне, средь булыжин лысых,
Полосками огня мелькают лисы.

И человеческий шум едва почуя,
Беззвучно в папоротник мелкий
С деревьев тихих упадают белки.

Пройдись травой:
 везде барсучьи норы,
Бурундука дорога столбовая...

Но только ли зверьём богаты горы?
А этот лес
от края и до края?..

На склонах, что изрезаны ручьями,
Чуть шевеля погнутыми сучками,
Стоит лихтач—
Над ним туман клочками.
К реке, чьи берега желты, оглоги,
Спускается березник белоногий.

И, растолкав осины, желтокорый
Взбирается сосняк на косогоры.

А кедры, кедры!—
Душно им в долинах.
Где молоджавым тополям—свобода,
Они у гор толпятся на вершинах—
Растений богатырская порода.

Бывает,
грозами себя измучив,
Мохнатые раскинув лапы плети,
У их подножья отдыхают тучи.

Да, много чем богаты горы эти!
И по молве ещё седой, старинной,
Что обошла и сёла и аилы:
У них серебряная сердцевина
И золотом наполненные жилы.

И оттого в утробах здешней птицы
Находят драгоценные крупицы.
И потому здесь,
на брусничном скате,
Избу поставил золотоискатель.

Да и не зря живут здесь лесорубы,
Чьи плечи широки, ладони грубы.

Да и недаром каждою зимою
Сюда на лыжах, раздвигая хвою,

От забураенных долинных пашен
Приходят зверобой бородаты...

Так слушай, друг, что, если так богаты,
Богаты всем родные горы наши,

Где каждый склон пересечён ручьями,—
То нам ли не назваться богачами!



РАДОСТЬ АЛТАЙКИ

Урсул в долине поёт,
Месяц горит над водой,
Весело сердце моё
Бьётся в груди молодой.

Травы и ночью цветут,
Славно роса их поит.
Там, за горами, живут
Братья и сестры мои.

Смуглая кровь у меня,
Темнее смолы коса,
У них же светлее дня
Волосы, лица, глаза.

Степная у них страна,
Пашут, сеют они,
Но дума у нас одна,
Заботы у нас одни.

Как лебедь к своим птенцам,
Как сокол под облака,
Наши летят сердца
Друг к другу издалека.

Под месяцем золотым
Меж нами границы нет.
Порой мы ночей не спим,
Работая при луне.

Чтоб здесь ли, в синих горах,
Где много долин и рек,
Там ли, в степи, в полях,
Счастливо жил человек.

А ты всё поёшь, Урсул.
Так слушай: в любом краю —
В полях ли, в горах, в лесу —
Пой эту песню мою.

СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА

Уже рассвет подёрнул синью скалы.
Широкий гул разлился по лесам,
А песнь моя ещё не умолкала,
И мой костёр ещё не погасал.

Мне весело. Прошла моя усталость,
И кровь свежа, и мускулы тверды.
Я праздную в кругу лесных фиалок.
Открытие серебряной воды.

Недаром я окрестные лощины
Куски камней разглядывал в упор,
Недаром я взбирался на вершины,
Чаган Узун, твоих высоких гор,

Где ни травы, ни лиственниц, ни елей,
Где, россыпью зелёных льдин звеня,
Свежая слег, морозные метели
Со всех сторон бросались на меня.

Шли облака и наступала темень,
Но, вихрями над крутизной не сбит,
На склоне я, растапывая щебень,
Закладывал под камень динамит.

И вот на дне расселины глубокой,
Где розовый ещё виднелся дым,
Вдруг киноварь густым кровоподтёком —
Желанный след серебряной воды —
Сквозь желтизну на камне проступила...

И мне тогда в ложбине ледяной
Почудилось, что не метель клубилась,
А горняки по склону шли в забой...

Вот почему в кругу лесных фиалок,
Вблизи ручья, синеголовых скал
И песнь моя всю ночь не умолкала,
И мой костёр всю ночь не угасал.



СОСЕДИ

К. РАСТЕГАЕВ



Дорога пала, и лошади с трудом тащили сани по проступившему из-под снега навозу. Местами удавалось свернуть с тракта на обочину, где лежал подтаявший, ноздреватый снег. Лошади тогда шли веселее, чувствуя близость дома. Ноступал вечер. Серые сумерки ложились на отроги гор.

Первым нарушил тягостное молчание Матвей Сысоев. Крупный уже немолодой, он удобно разместился в передних санях и, лукаво улыбнувшись, проговорил:

— Не очень-то весело мы отпраздновали. До сих пор в себя не придём.

Не получив ответа, Матвей обратился к сидящим на задних санях:

— Эгей! Телечи! Вы что насупились, точно бурундук на зерно? Думаете— молча лучше переварить соседское угощение?

— Брось дурака валять, — возмущённо впөлголога остановил Сысоева сидевший рядом с ним Торбай Машлаев, колхозный бригадир-полевод. Ты вот вечно такой: до старости дожил, а серьёзности ни на грош. Людям не до смеха. Посмотри на председателя. Он за три года на фронте такого позора, поди, не переживал. А вот к нам не успел вернуться, дела принять и расхлебывайся за ваши грехи — за мои, за твои, Матвей...

— А какие мои грехи, — усмехнулся Сысоев. — Я человек правиль-

ный. Иной раз выпью через край, да посмеяться люблю, так это делу не помеха. Ежели, конечно, в пропорции всё делается. Это, брат, твоя бригада виновата, да вот Телечи с осени на ферме ягнят не уберегла. А моё дело ясное. — отстучал молоточком день и всё в порядке.

— Вот в этом и главная беда. Посмотри у дьаны-дьольцев — каждый, не только о своей норме думает, а шире глядит. Вот почему они-то и побили нас.

— Ну пусть, — не унимался кузнец. — Сегодня они нас, а завтра мы их. Вот как надо, а не вешать нос.

Машлаев оглянулся на сани, где сидели колхозные животные и невольно засмеялся. Женщины ехали молча, тесно прижавшись друг к другу. Шёлковые кисточки шапок раскачивались, иногда спадали на их лица. Встряхнув головой, они отбрасывали кисти назад и продолжали сидеть молчаливо, нахохлившись.

„Да, эти нагостились досыта, долго будут помнить своих соседей. — Подумал Торбай. — А председатель?“

Монус Юзуков ехал верхом впереди подвод. Мысли его всё возвращались в колхоз „Дьаны-дьол“, где в этот день пришлось пережить много неприятных минут.

Поездку предложил райком партии. Когда Монус подбирал людей для поездки, он совсем не подумал, что она закончится такими неприятностями. Дело было ясное — колхозом „Дьаны-дьол“, уже шестой год бессменно руководил опытный хозяин Байрам Бахтушкин, он занял по праву первое место в соревновании и получил переходящее красное знамя. А Монус только-только демобилизовался из армии и впервые руководил большим коллективным хозяйством „Красных орлов“. Поучиться же у старшего, более опытного товарища, Монус никогда не считал зазорным.

Дьаны-дьольцы встретили их с почётом. Довольные победою в соревновании, хозяева водили гостей по своим добротно отремонтированным скотным дворам, показывали скот, охотно рассказывали о работе. Но всякий раз, довольно двусмысленно улыбаясь, дьаны-дьольцы приговаривали:

— Смотрите, смотрите, желанные гости, авось и у вас что-либо получится.

А может быть, это только казалось Юзукову и его товарищам? Нет. В телятнике заведующая фермой слишком долго заставляла всех вытирать ноги о солому, замоченную в ящике с дезинфицирующим раствором.

Показав крепких и здоровых телят, заведующая фермой, как бы вскользь, бросила:

— А у вас, говорят, телятки-то нужные, заморённые. Сколько в отход списали?

Этот неизменный оборот речи „А у вас?“, неотступно преследовал членов бригады повсюду и становился всё неприятнее. Но это было ещё не всё. Главное произошло позднее. И такого оскорбления забыть нельзя. Даже сейчас, при воспоминании о разговоре с Бахтушкиным, у Монуса пробегала дрожь по телу.

В колхозном клубе, после торжественного вручения переходящего знамени, было приготовлено угощение. Бахтушкин — гостеприимный хозяин, он не забывал во-время наполнить стакан гостя тёплой аракой, следил, чтобы миска перед Монусом не пустовала без еды. Когда люди почувствовали себя навеселе и помещение наполнилось громкими голосами колхозников, хозяин вновь наполнил стакан Монуса и положил руки на его плечи.

Монусу показалось, что в комнате стало тише, точно все прислушивались к ядовитым словам, обречённым Бахтушкиным к нему:

— Пей, председатель. Тужить зря не стоит, всё это дело поправимое. Колхоз у вас не плохой, люди, смотри какие, — орлы. Правда, говорят, что иногда при плохом командире и хорошая армия бедствие терпит. Но ты ещё поправишься, молод. Жаль мне, понягно, вас не видать вам переходящего знамени. Но уж тут ничем помочь не могу.

При этих словах Монуса в жар бросило. Отодвинул он стакан с аракой, резко встал. Из груди зазвенели боевые медали.

— Вот что, дорогой сосед. Мои способности ты ещё плохо знаешь, а своими рано кичишься. Спасибо за угощение!

Монус вышел из-за стола, строго сказал своим колхозникам:

— Ну, орлы, пора по домам. Погостевали и хватит.

Вспоминая всё это, Юзуков не заметил, как проехал обратный путь. Очнулся он, когда копыта лошади звонко застучали по оттаявшему настилу моста. За рекой в вечерних сумерках темнела деревня.

Монус обернулся к ехавшим позади саням и уже несколько веселее крикнул:

— Погорاپливайтесь, орлы! Носы не вешать! Мы ещё потягаемся.

* *

Утром, едва развиднелось, подросток Чункек быстро обежала избы колхозных бригадиров и заведующих фермами. Врываясь в избы, торопила:

— Велено немедленно собираться всем в контору... Потом позавтракаете...

Юзуков сидел за председательским столом хмурый и сосредоточенный, с припухшими от бессоницы глазами. Перелистывал лежавшие перед ним бумаги. По временам заглядывал в небольшой исписанный карандашом блок-нот. Не поднимая головы, глухо отвечал на приветствия собирающихся бригадиров. Те молча присаживались на длинные скамьи, многозначительно переглядывались между собой и делали вид, что интересуются плакатами, повешанными на стенах конторы ещё год назад. Кузнец Матвей Сысоев, разглядывая пол, старательно набивал табак в трубку.

Последней в дверь протиснулась, стараясь не шуметь, Ойношева. Юзуков поднял голову. Большие красивые брови его были сведены к переносице. Припухшие веки и синева усталости ярче оттеняли блеск чёрных глаз. Крепко сжатые губы свидетельствовали о сдерживаемых, до поры до времени, волнениях и упрямстве характера.

„Вот когда начинается“ — подумал, глядя на председателя Сысоев.

Юзуков встал.

— Все, наконец?

— Все.

— Ну вот и хорошо. Как спалось вам, орлы? Как себя чувствуете? Как кушалось вам?

— Да ничего, товарищ председатель, — ответил за всех старый Дьолдош.

Яркая краска залила лицо Юзукова. Он резко повернулся в сторону Дьолдоша, но сдержался. Только на скулах узлами вычертились желваки.

— Уж не решили ли вы всерьёз, что меня беспокоит ваше самочувствие, ваш аппетит? Думаете, потому я не спал ночь, что беспокоился, не потерял ли, чего доброго, Матвей вкус к еде...

Сысоев не выдержал и фыркнул от смеха: „Знает моё слабое место“.

— Зря фыркаешь, Матвей, что простуженный теленок. Не смеяться нам надо, а думать, работать надо, орлы. Название-то у колхоза какое громкое — „Красные орлы“. А работаем, выходит, мы точно мокрые курицы. Раньше в аймаке первыми были. Что случилось? Аппетит потерял и к труду или сонливость ододела? Или может быть вы согласны с Бахтушкиным, который заявил вчера, что хороший отряд страдает от плохого командира. Я лично другого мнения о вас. Хорошего. Мне кажется, что совесть ваша не будет спокойна до тех пор, пока переходящее красное знамя не перекочет от дьяны-дьольцев в этот угол.

Монус указал рукой на то место, где раньше стояло знамя.

— Прений по этому поводу открывать не будем. Давайте лучше подсядем поближе да потолкуем, как выполнить всё, что записано вот здесь у меня...

Бригадиры подсели ближе к столу.

* * *

Гремя подойниками и громко переговариваясь, доярки давно ушли по домам с вечерней дойки. Умолкла веялка у складов, где сортировали семянное зерно. На село опустился тихий весенний вечер. Лёгкий прохладный ветер с гор нес приятные запахи прелой листвы. Воздух был напоен дыханием освобождённой из-под снега земли.

Сысоев окурив трубку, выколотил пепел, последний раз с силой вдохнул в себя воздух и вернулся в кузницу.

— Хорошо на воздухе, Майныс. Весна совсем рядом. Стоит и спрашивает: „А готовы ли вы. Матвей да Майныс, меня встречать?“ Что отвечать будем, Майныс?

Сысоев похлопал по плечу молотобойца, раздувавшего мехами огонь в горне. Майныс улыбнулся, в отсветах горна блеснули молодые ровные его зубы.

— Отвечать можно, дядя Матвей! Ремонт сегодня закончим. Ведь так?

Сысоев доволен и своим помощником и его ответом. Молодой и сильный парень охотно брался за любую работу, точно истосковался по ней на фронте. Не отложит на завтра то, что можно было сделать сегодня. Не наспех, лишь бы выполнить норму, а по-хозяйски работает, старательно. Было приятно видеть, как этот крепкий, мускулистый парень, сняв ватник, в одной гимнастёрке ловко орудовал тяжёлым молотом.

Сейчас он, отойдя от горна, перемывал в керосине разобранные диски сеялки.

— Да, ремонт сегодня закончим. — Удовлетворённо подтвердил Матвей. — И не мы одни торопимся встречать весну. Животноводы и полеводческие бригады также стараются.

Кузнецы занялись последней сеялкой, обещанной на завтра бригаде Машлаева. Увлечённые работой, они не замечали, как текло время.

Вдруг широко распахнулась дверь кузницы и в ней появилась женщина. Остановившись у порога, — освоилась на свету и принялась браниться:

— Ты что, старик, с ума сошёл? Ведь полночь. Ужин давно осмыл, все спят, а тебя не дождёшься.

Вместо ответа, кузнец обратился к молотобойцу:

— Вот видишь, Майныс, как хорошо иметь заботливую жену. А ты медлишь, в холостяках ходишь.

— Ему шутки, зубы ещё заговаривает. И что это за беда такая, у всех мужики как мужики, а у меня—как из дому, так обязательно с ночевой...

— Перестань, старая. Вот посмотри, у Майныса вечером свидание назначено и то отложил, потому как работа срочная. А ты меня домой загнать хочешь. Кончим — приду.

Как бы давая знать, что разговор с женой закончен, Сысоев повернулся к горну и нарочито испуганно чертыхнулся:

— Старый чорт. Заболтался и про дело забыл. Смотри как железо перекалилось Майныс, берись за молот, становись к наковальне!

Дальнейший разговор был бесполезен, жена, хлопнув дверью, вышла из кузницы. Позади раздался дружный смех довольных кузнецов.

* * *

Юзуков возвращался с ближнего пастбища, выделенного для суягных овцематок. Копыта лошади то цокали по осыпи скал, то сочно чавкали по весенней грязи.

Осмотр фермы и пастбищ привёл Монуса в хорошее настроение. Заботливая и старательная Телечи Болдина на этот раз предусмотрела всё для успешного проведения окота. С зимних пастбищ, расположенных в горах, чабаны пригнали маток к ферме. Круглые и мохнатые до стрижки, в свалявшейся зимней шерсти, матки паслись на ровном участке. На ферме, в отдельном помещении, в чистеньких клетках уже появились первые новорожденные, — крепенькие кудрявые ягнята.

„Здесь всё благополучно, — думал Юзуков, — у телятниц тоже хорошо идут дела. Остаётся только завтра пробный выезд в поле бригады Машлаева“.

Между корнями деревьев и особенно на лужайке у реки уже пробивалась зелёная поросль трав. Под горячими лучами солнца дотаявали остатки снега. Чувство пробуждения жизни наполняло душу сладкой истомой.

Недалеко от деревни всаднику встретился молодой колхозник из „Дьяны-дьол“. Удобно усевшись в телеге, он что-то напевал себе под нос.

Монус окликнул его:

— Добрый день, голосистый паренёк!

— Добрый день, — отвечал тот.

— Далеко ли путь держишь, за какой удачей?

— В аймак еду. Председатель послал запасных частей просить к машинам. И кузнец у нас заболел, буду просить, чтобы тамошняя промартель своего на время дала. Затирает нас с ремонтом.

— Зачем же так далеко за кузнецом ездить, когда у нас Сысоев свободен. Со своим инвентарём управился давно, мог бы и вам помочь

— Говорили мы председателю...

— Ну, и что?

— Не соглашается: Обойдёмся, говорит, и без помощи.

— Вот уж это не по-соседски, — разгорячился Монус. — Мало ли что он не хочет, так общее дело того требует. Поезжай Части вези, а кузнеца не надо. Мы завтра своих подбросим.

— Фронтовики всегда вот так поступают, — одобрительно сказал „дьаны-дьолец“ и тронул лошадь.

Юзуков с минуту смотрел вслед удалявшейся телеге. Пожал плечами:

— Вот уж этого не ожидал. Чудак Бахтушкин.

* * *

В один из особенно солнечных и тёплых дней, сильнее забурлили ручьи по склонам гор, исчезли последние снежные пятна на полях, над чёрной и сочной землёй поднялись лёгкие испарения. Земля дышала. Скворцы наполняли щелканьем набухшие почками берёзовые рощи. Ребятишки принесли из лесу первые весенние цветы. И все поняли, что это уже настоящая весна.

Каждый день был наполнен до предела большой и срочной работой. Животноводы сбились с ног, принимая ежедневно десятки новых ягнят и телят. Работники полеводческой бригады торопились предохранить почву от потери влаги, во-время и хорошо отсеяться. Юзуков целыми днями не бывал дома, навещая то фермы, то полеводческие бригады.

Как-то, в один из таких дней, Монус встретил на поле грязного, загорелого и обветренного Сысоева. Тот возился у неисправной сеялки. Усталый и похудевший Матвей был как всегда весел.

Председателя он встретил словами:

— Вертимся помаленьку. Верно говорят, как в гостях ни хорошо, а дома лучше. Помог дьаны-дьольцам и скорее домой.

— А как у них в колхозе? — спросил Монус.

— Встретили прохладно, а проводили тепло, обиделся сперва

Бахтушкин, что в помощники напрашиваемся. Ну да ничего, после всё обошлось.

Приладив сошники у сеялки, старик закончил шуткой:

— Тебе хорошо, председатель, ты человек пока вольный, дома никто тебя не караулит. А вот мне каково? Жена с ног сбилась, домой загоняет. Вот и сегодня ещё с рассвета не был дома. Скоро жена в разведку пойдёт по бригадам.

— Ты всё балагуришь, Матвей, а вот ты серьёзно скажи, скоро сеялка пойдёт?

— С шутками работать легче, председатель. Без шуток тут дня два возиться надо, а у меня она через час пойдёт в работу.

Точно один большой и тяжёлый рабочий день прошла десятидневка. На двенадцатый день с начала полевых работ Монус прочитал в газете статью о своём колхозе: „Колхоз „Красные орлы“, которым руководит фронтовик Юзуков, закончил весенний сев за 10 рабочих дней. Животноводы колхоза успешно провели расплодную кампанию, полностью сохранили молодняк“.

Приятно ощущение успеха. Но удовлетворения не было.

В этой же статье, чуть-чуть пониже, говорилось об отставании с севом колхоза „Дьяны дьол“.

В тот же день он выделил бригаду, в которую дал лучших пахарей, сеяльщиков, лошадей и инвентарь. Вместе с бригадой сам выехал в колхоз „Дьяны дьол“.

Байрам Бахтушкин встретил его недружелюбно:

— Я вас сюда просил? Как-нибудь сами управимся.

Монус не растерялся. Он знал, что помощи Байрам был рад, так как нуждался в ней, а если и отказывался, то только из-за ложного стыда, желая скрыть неловкость положения. Поэтому Монус нарочито грубо, в тон Бахтушкину, ответил:

— А мы и не тебе помогать приехали вовсе, а колхозу. И даже не колхозу, а самому государству. Ему важно, чтобы и ваш колхоз не затянул сев.

— Ну если так, что ж помогайте. — Согласился Бахтушкин, — В долгу не останемся. — И тут же распорядился лучше разместить прибывших.

Монус ежедневно вызывал соседей по телефону, интересовался ходом сева, волновался и поторапливал бригадира, точно речь

— В аймак еду. Председатель послал запасных частей просить к машинам. И кузнец у нас заболел, буду просить, чтобы тамошняя промартель своего на время дала. Затирает нас с ремонтом.

— Зачем же так далеко за кузнецом ездить, когда у нас Сысоев свободен. Со своим инвентарём управился давно, мог бы и вам помочь

— Говорили мы председателю...

— Ну, и что?

— Не соглашается: Обойдёмся, говорит, и без помощи.

— Вот уж это не по-соседски, — разгорячился Монус. — Мало ли что он не хочет, так общее дело того требует. Поезжай Части вези, а кузнеца не надо. Мы завтра своих подбросим.

— Фронтавики всегда вот так поступают, — одобриительно сказал „дьяны-дьюлец“ и тронул лошадь.

Юзуков с минуту смотрел вслед удалявшейся телеге. Пожал плечами:

— Вот уж этого не ожидал. Чудак Бахтушкин.

* * *

В один из особенно солнечных и тёплых дней, сильнее забурили ручьи по склонам гор, исчезли последние снежные пятна на полях, над чёрной и сочной землёй поднялись лёгкие испарения. Земля дышала. Скворцы наполняли щелканьем набухшие почки берёзовые рощи. Ребятишки принесли из лесу первые весенние цветы. И все поняли, что это уже настоящая весна.

Каждый день был наполнен до предела большой и срочной работой. Животноводы сбились с ног, принимая ежедневно десятки новых ягнят и телят. Работники полеводческой бригады торопились предохранить почву от потери влаги, во-время и хорошо отсеяться. Юзуков целыми днями не бывал дома, навещая то фермы, то полеводческие бригады.

Как-то, в один из таких дней, Монус встретил на поле грязного, загорелого и обветренного Сысоева. Тот возился у неисправной сеялки. Усталый и похудевший Матвей был как всегда весел.

Председателя он встретил словами:

— Вертимся помаленьку. Верно говорят, как в гостях ни хорошо, а дома лучше. Помог дьяны-дьюльцам и скорее домой.

— А как у них в колхозе? — спросил Монус.

— Встретили прохладно, а проводили тепло, обиделся сперва

Бахтушкин, что в помощники напрашиваемся. Ну да ничего, после всё обошлось.

Приладив сошники у сеялки, старик закончил шуткой:

— Тебе хорошо, председатель, ты человек пока вольный, дома никто тебя не караулит. А вот мне каково? Жена с ног сбилась, домоп загоняет. Вот и сегодня ещё с рассвета не был дома. Скоро жена в разведку пойдёт по бригадам.

— Ты всё балагуришь, Матвей, а вот ты серьёзно скажи, скоро сеялка пойдёт?

— С шутками работать легче, председатель. Без шуток тут дня два возиться надо, а у меня она через час пойдёт в работу.

Точно один большой и тяжёлый рабочий день прошла десятидневка. На двенадцатый день с начала полевых работ Монус прочитал в газете статью о своём колхозе: „Колхоз „Красные орлы“, которым руководит фронтовик Юзуков, закончил весенний сев за 10 рабочих дней. Животноводы колхоза успешно провели расплодную кампанию, полностью сохранили молодняк“.

Приятно ощущение успеха. Но удовлетворения не было.

В этой же статье, чуть-чуть пониже, говорилось об отставании с севом колхоза „Дьяны-дьял“.

В тот же день он выделил бригаду, в которую дал лучших пахарей, сеяльщиков, лошадей и инвентарь. Вместе с бригадой сам выехал в колхоз „Дьяны-дьял“.

Байрам Бахтушкин встретил его недружелюбно:

— Я вас сюда просил? Как-нибудь сами управимся.

Монус не растерялся. Он знал, что помощи Байрам был рад, так как нуждался в ней, а если и отказывался, то только из-за ложного стыда, желая скрыть неловкость положения. Поэтому Монус нарочито грубо, в тон Бахтушкину, ответил:

— А мы и не тебе помогать приехали вовсе, а колхозу. И даже не колхозу, а самому государству. Ему важно, чтобы и ваш колхоз не затянул сев.

— Ну если так, что ж помогайте. — Согласился Бахтушкин, — В долгу не останемся. — И тут же распорядился лучше разместить прибывших.

Монус ежедневно вызывал соседей по телефону, интересовался ходом сева, волновался и потирапливал бригадира, точно речь

шла о своём собственном колхозе. На пятый день он не выдержал и сам приехал в „Дьаны-дьол“. Первое что услышал Монус, слезая с коня у колхозной конторы,—это слова Бахтушкина, который довольно улыбаясь благодарил за добросовестную помощь.

Выслушав его, Монус покровительственно похлопал по плечу Бахтушкина и сказал:

—Вот видишь, а ты зря волновался, товарищ председатель. Любая оплошность поправима, особенно в вашем колхозе. Хозяйство у вас хорошее, люди точно орлы. Правда, бывает иногда, что и хороший отряд... Ну, да об этом поминать не будем. Вот только с переходящим знаменем вам, видимо, придётся расстаться. Но уж тут, хоть и жаль мне тебя, помочь ничем не могу.



А. ДЕМЧЕНКО ВСТРЕЧА НА ЗИМОВКЕ



— Заходите, заходите, — ласково поторавливала овец Ильгей. Стоя у ворот, девушка внимательно осматривала каждую входившую. — А ты погоди, — остановила она дымчатую матку и, запустив пальцы в её густую шерсть, улыбнулась. — Тебе сегодня другая палата положена. Вот сюда, влево.

Она ошупала вздувшиеся бока присмирившей овцы и, тихонько подталкивая её вперёд, открыла небольшие ворота в отдельный загон. Овца заупрямилась и не хотела уходить из отары.

— Там тебе будет лучше, — убеждала её девушка. — Иди. Ты у меня умница. Только давай пару. Слышишь! Двух. А если подаришь больше — не откажусь. — Ильгей засмеялась. — Ты разве не знаешь, что Ильгей дала слово удвоить к летним выпасам отару. Нам нужно много хороших овец к концу пятилетки. Ну, не кричи! Ты же не одна здесь. Пошла, пошла.

Она бережно прикрыла лёгонькую калитку. Четыре года назад Оиска, уходя на фронт, сделал на память ей эти красивые ворота. Он выстрогал из лиственницы два столбика, зарыл под пятку старую ступицу от колеса и сказал в шутку:

— Счастливые должны быть ворота. Это ворота к богатству, Ильгей. Я так и напишу на них.

Сказал это Оиска, весёлый табунщик шутя, а слова его согрели и сейчас сердце девушки. Столько лет прошло, а она их

помнит. И надпись не стёрлась, сделанная Оиской. Горит перед её глазами, какая новая. Приход Оиска с часу на час ждут в колхозе. Могла ли она допустить, чтобы стерлись слова Оиска. Ильгей растроганно посмотрела на едва заметную в тени надпись.

„Это действительно счастливые ворота получились, Оиска. Ворота к богатству. В них ни разу не заходили голодными овцы. Ни разу“.

Ильгей вздохнула. Это она постаралась. А сколько было тяжёлых дней за эти годы, Оиска. Она не опустила руки. Отара её росла с каждым годом. Всё больше и больше проходило овец через эти ворота. А сейчас в горах развернулось большое соревнование. И, кто знает, может её молодёжная бригада: чабаны, пастухи окажутся победителями!

Зима идёт к концу, а их скот не потерял упитанности. И не потеряет. Будь спокоен, Оиска. Ильгей хочет встретить тебя не с пустыми руками. Её отара — гордость всего колхоза. Правильно, Оиска, ты написал. Эти ворота к богатству.

Скоро в горах у народа будет большой праздник. Если бы до праздника пришёл... Может и ты бы успел написать свой рапорт. Разве усидел бы ты в безделье! Может захотел бы ты этот праздник памятным сделать на всю жизнь? Ах, Оиска, такое счастье не у каждой девушки бывает!

Из-за облака на острый гребень соседней горы упало солнце. Ослепительно яркое, оно оживило снежные кристаллы. Вспыхнули, засверкали они, трепетные, искрящиеся в холодных брызгах света. Заглянуло оно в глаза Ильгей и зажгло монисты в её косе. „Ну, о чём ты задумалась? — будто говорило оно. — Ты вот на меня посмотри. Сегодня, кажется, немало я поработало и порядком устало, а мне весело. Весело потому, что и сегодня я хорошо потрудились для людей. Вот полежу ещё минутку на этой горе и пойду на покой. Поторопись, красавица, и ты с делами“.

Ильгей прищурилась. Счастливая улыбка светилась на её лице. Девушка всё ещё была во власти мечты, охватившей её светлой, хорошей радостью. Не заметила она, что к кошаре приближается взволнованная всадница.

— Ильгей! Ильген! — закричала ещё издали всадница.

Но Ильгей не отзывалась. Та соскочила с лошади и, запыхавшаяся, возбуждённая подбежала к воротам кошары.

— Ильгей! Да что с тобой? Ты меня слышишь?

Она схватила подругу за рукав и отдельно произнесла:

— Приехал! Понимаешь? Ах, Ильгей! Что ты стоишь? Приехал. Слышишь? Приехал. Своими глазами видела!

Ильгей смотрела ей в лицо и ничего не понимала.

— Да ты что в самом деле? — возмутилась девушка. — Я ей говорю, а она стоит и чему-то улыбается!

— О чём ты, Мерей?

— Вот тебе и о чём, — приехал! Он!

— Приехал? — Ильгей отстранилась, удивлённо посмотрела на подругу. — Нет, ты что-то путаешь, Мерей... Не может он, пока... — прошептала она, поражённая известием.

— Что же мне своим глазам не верить? — обиделась Мерей. — Ты же сама знаешь, что его ждали. Приехал и сразу пошли на МТФ. Того и гляди здесь будут.

Ильгей смотрела на подругу ещё несколько мгновений, соображая и догадавшись, наконец, в чём дело, весело рассмеялась, схватила её и поцеловала. Потом оттолкнула от себя и бросилась бегом к избушке.

— Вот сумашедшая. погоди, постой, давай договоримся!

Но Ильгей махнула ей рукой.

— Поезжай к девушкам. Скажи там, что приехал.

Мерей вскочила на седло. Лицо её горело.

— Тебе хорошо, — бормотала она, — у тебя всегда всё в порядке, а у меня одна овца захромала, как нарочно.

Вскоре она уже мелькала на тропе, смешно размахивая локтями в такт скачущей лошади.

Ильгей обошла отару. Сердце её учащённо билось. Принесла суягным маткам охапку зелёного листового сена. Матки подошли к сену, ткнулись носами и лениво, нехотя стали выбирать вкусные листочки.

— Нет уж, всё до стебелька! — потребовала Ильгей. — Слышите? Она потрепала по шее дымчатую овцу:

— Дрожишь? Волнуешься? Не бойся. — Девушка внимательно осмотрела овцу, впервые нынче ягнившуюся. „Нервная, — подумала озабоченно. — Придётся подежурить ночку“.

Потом Ильгей вычистила загон и, сбросив шубу, побежала к незамерзающему ручью. В изумрудной воде отразилось весёлое, полное лицо, кирпичики румянца на щеках, тонкие ободки бровей. Отражение переливалось, колыхалось, ломая черты лица. Ильгей подмигнула ему и отбрасывая через плечо поминутно сползавшую косу в блёстках монистов, обжигаясь холодной ключевой водой, стала умываться. Капли воды звонко стекали в ручей.

— Уф! Хватит! Хватит! — чувствуя, как горят её лицо и руки, выдохнула она и выпрямилась готовая бежать в избушку. Вдруг взгляд её скользнул по долине. Ильгей тихо ахнула и бегом пустилась к стану. Из долины к зимовке свернула группа всадников.

И вот на зимовке Ильгей весело фыркают кони, шумно раздаются голоса гостей. Молодые хозяйки быстро орудуют у костра, подвешивают большой, эмалированный котёл.

— Эзендер, Ильгей! — весело говорит председатель артели, — гостя привёз, принимай!

Из шумной толпы подошёл к ней невысокий, худощавый старик, с молодыми весёлыми глазами.

— Вот ты какая стахановка, — сказал он, кланяясь ей и подавая сухую руку. — Эзендер, эзендер, красавица! Не ждала? А меня народ послал. Много хорошего говорят про твою бригаду. Вижу, что не зря говорят.

Он подсел к костру. Ильгей вспыхнула от похвалы. Ещё бы — получить похвалу от самого Чарака Салбашева, знаменитого чабана аймака! Это кое-что да значит.

— Говорить-то много ещё не о чем, — сказала она и, блеснув улыбкой, принялась мыть посуду. (Если б они знали, о каком могучем стаде мечтают её девушки к концу пятилетки!)

— Ого, — сказал старик, — со стороны-то виднее оказывается!

Он положил в трубку уголёк и прижал его обкуренным глянецым пальцем.

— Мне будет о чём рассказывать дома, — заговорил он, наклоняясь в сторону председателя. — Вы смело идёте в гору. Посмотрел я на ваших торбоков и сердце у меня стало молодым. Хорошие торбоки.

Председатель улыбнулся, а Чарак продолжал:

— Посмотрел я на ваших коней и за ушами ветер почувствовал — богатырские кони.

— Ферма ждёт лучшего табунщика, — сказал председатель и невзначай взглянул на Ильгей. Девушка почувствовала его взгляд, и сердце её радостно откликнулось. Хорошо знала она, о каком табунщике идёт речь! Да, она тоже ждёт — не дожждётся его!

После чаю все ходили в кошару и смотрели овец, Чарак жадно слушал Ильгей о том, как она примечает ещё с лета, где какие травы растут, как она с девушками, не жалея сил, рассчитывала новые выпаса и ночами работала на заготовке кормов. Старик осмотрел суягных маток. Ему понравился чистый, утеплённый загон.

— Хорошо сделано, — сказал он. — А как на тебенёвке?

— В хорошие ясные дни пасу на косогорах, — сказала Ильгей. — Там летом не были овцы, травостой богатый. В бураны есть заслоны. Вот видите, за тем камнем? Там затишье. Там и солонцы.

— Ты молода, а мудрость у тебя старика, — сказал Чарак. Рад за тебя. Отара в надежных руках. Девушки наши в гости тебя звали, просили передать, что поучиться хотят у тебя, соревноваться с тобой.

Ильгей смутилась.

— Мы поговорим об этом в бригаде.

— Пожалуйста, поговорите.

Вернулись к костру. Чарак рассказал о том, как их колхоз борется за высокопродуктивное артельное стадо, как водяг отары их чабаны, как долгие годы он сам добивался рекордных показателей в выращивании стада, тех показателей, о которых узнала Москва, за которые он был удостоен высшей награды — ордена Ленина.

— Но вы, молодёжь, — сказал он в заключение, — вы проворнее нас стариков. В другое время растёте! Сейчас не стремится ввысь тот, кто боится солнца, у кого от высоты кружится голова. Вы за славой своей не ходите в одиночку. Это хорошо. Такая слава — вечная, потому что это слава многих рук и стараний.

Ильгей проводила гостей до своротка в долину. Тихий свежий вечер ложился в горах. Девушка долго стояла и смотрела на удалявшихся всадников. Радостно и светло было у неё на душе. Она стояла и чему-то улыбалась. Может быть, из мечты. издалека ей послышался знакомый голос. Может он, весёлый табунщик, говорил ей слова любви. Возвращайся, Оиска, она готова встретить твой приход. Тебе она поведаёт мечты жаркие и страстные, без которых немислима любовь, и мысли и желания, которыми живёт колхоз, о большом солнце над Алтаем, о большой настоящей жизни. В боях ты отстаивал эти мечты, Оиска. Она же отстояла их в труде. Но ещё много работы впереди и как бы кстати был твой приезд, Оиска, именно в эти дни!



В. КУЧИЯК

ВЕЛ НАС

ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ

На свободно живший народ
Враг фашистский напал.
Самый счастливый народ
Рабами сделать мечтал.

Гитлер злобный шакал
Взять Москву собирался.
Но им задуманный план
Не осуществлённым сорвался.

Грудью народ наш встал,
В победе уверен и строг.
Армии нашей вал
Враг одолеть не мог.

Армии нашей размах
Громом на них опустился.
Кровью запятнанный враг
Вспять от Москвы откатился.

Армию Гитлера подлую
Мы разгромили в прах,
Славу в века народную
Мы пронесли на штыках.

К победе сквозь грозы, в метели и дождь
Вёл нас Сталин — великий вождь.



ПЕСНЯ ДОЯРКИ

Белое молоко от колхозных коров
Мною сверх плана надсено.
Обществу делающая добро,
Я похвалы удостоена.

В праздники только, чтобы носить,
Шапку сошью соболью.
Черноглазого парня буду любить,
Жизнью своей довольная.

Яркий платок, что солнца лучи,
Стану носить я в будни.
С милым другом — колхозным анчи
Соревноваться в труде буду.

Масла и белопенного молока
Пусть колхоз в избытке имеет.
Пусть страна моя будет крепка
И с каждым днём мощнеет.

Буду работать, чтоб всюду вокруг
Коровы удоями славились.
И черноглазый любимый друг
Сказал, что ему я нравлюсь.

Молоко прибавляющие каждый денёк
Коровы мои — лучшие в стане.
Знатный стахановец-паренёк
Мужем достойным мне станет.

ОТВЕТ

— Золотое кольцо я дам,
Возмёшь ли, моя дорогая?
Волю мыслям своим дам,
Будешь ли слушать их, родная?

Лето и зиму в горах
Скот я пасу всегда.
Любишь ли ты меня.
Скажи скорей—нет или да?

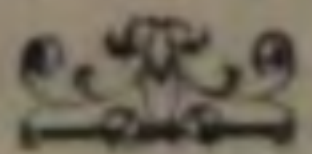
Ни весной ни осенью я
В труде не привык тужить,
Люб ли тебе? Не тая,
Улыбнувшись, скорей скажи.

— Разве твою дорожку
Может лиса затоптать?
Разве такого парня
Можно любовью пытать?

Нет, исхоженную дорогу
Никакая лиса не затопчет.
Парня, работающего много,
Кто же любить не захочет?

На пастбищах дни коротая,
Ты закалился, как сталь.
В колхозных деревнях Алтая
Известным стахановцем стал.

По лугам с цветочным ковром,
Радуюсь, я брожу.
О тебе, красивый, самом,
Мечтая, всегда хожу.



ПЕСНЯ ЧАБАНА

Курганы молчаливые
Таят степную быль.
Звенит волной сонливую
Серебряный ковыль.

Ходил отец с отарою
У бая-кулака,
Певал он песню старую,
А в песне — слёз река...

Терпел побой смолоду
И грустен был коней,
Больной погиб от голода
В степи батрак-отец.

Я петь не стану слёзное!
О счастье, песнь кипи!
Веду своё колхозное
Я стадо по степи.

Цвёл май травой немятою, —
Лит лёгкий запах смол.
С весной моей двадцатую
Пришёл я в комсомол.

Мне мил, роскою вымытый,
Ряд тихий нежных лоз.
Как жизнь, люблю раскинутый
В горах родной колхоз.

Вскипай же, радость буйная,
И крепни, голос мой!
В раздолье, песня вольная,
Помчись, как конь степной!

Взвей, ветер, серой гривой,
Гони степную пыль!
Взыграй волной шумливой,
Серебряный ковыль!

ПЕСНЯ ВЯЗАЛЬЩИЦЫ

Нет работы на свете милей —
Убирать золотистую рожь!
Я — стахановка тучных полей,
И за мною идёт молодёжь.

Льётся в грудь мне хлебов аромат —
Радость пышет на сердце огнём.
Заалееет пунцовый закат —
Вечер встречу вторым трудовднём.

На Катунь играет волна
И блеснит под луной серебром.
Жизнь колхозная счастья полна —
На стану мы ей славу поём.

Наша жизнь бьёт чудесным ключом,
Мой колхоз изобильем расцвёл.
Путь победы нам дан Ильичём,
К счастью Сталин любимый привёл.



Тойчи Торколовой уже перевалило за шестьдесят. Но подойдите к ней, поговорите и вы сбросите половину прожитых ею лет. Голос звонкий, слова произносит чётко, садится или встаёт проворно — молодым не уступит!

— Эйт, она неладная, рано родилась! ... Или бы советская власть раньше пришла.

Эти фразы часто говорит Тойчи.

Эркелей, единственную дочь Тойчи, в прошлом году, осенью командировали в город на колхозные курсы. Мать хотела возражать против отправки Эркелей на учёбу. Но дочь спросила:

— Вы хотите, чтобы я осталась неграмотной, как и вы?

Тойчи замолчала и только во время проводов дочери уронила слезу.

Весной она пришла однажды в правление колхоза и сказала председателю:

— Я за шестьдесят лет жизни дальше урочища Корумдоя нигде не была... Я поведу для Эркелей коня и город посмотрю.

Председатель ответа не сразу, сначала о чём-то подумал, потом улыбнулся.

— Просьба ваша будет выполнена... По окончании учёбы на курсах пошлём вас за дочерью.

По правде говоря, Тойчи хотела попасть в город не без цели.

Недавно приезжала из соседней деревни жена покойного Яжная — Баланка, ещё пятнадцать лет назад сосватавшая Эркелей. (Эркелей сейчас двадцать лет). Сватья сидела на женской стороне очага. Лицо у неё, как промытая дождём старая береста, бледное, из-под плисовой шапки торчат седые волосы. Она пять трубок табаку выкурила, выпила чашку чая. А перед уходом сказала:

— Пятнадцать лет прошло, как мой сын Чычкап наречён женихом твоей дочери Эркелей... Честный человек никогда не нарушает своё слово... У нас в роду бесчестных ещё не было...

Тойчи поняла тонкий, как шёлковая нитка, намёк Баланки и поспешно ответила:

— В нашем роду тоже...

Баланка уехала. Тойчи решила:

— Девке воли не дам. Её много учить не следует, надо скорее поехать за ней.

Но приехав в город, Тойчи совсем забыла об этом последнем разговоре с Баланкой. Всё в городе было для неё новым и она, как маленькая, ко всему внимательно присматривалась.

Однажды она трубку хотела закурить в студенческой столовой. „Здесь не курят“, — тихо сказала Эркелей. В другой раз она хотела закурить в кино. Опять Эркелей сказала: „Нельзя курить“.

— Что же это такое? Неужели городские не курят? Там нельзя, тут нельзя, где же тогда курить-то?

Эркелей объяснила, где не курят и где можно курить.

— Зачем этого чорта здесь на виду поставили, надо его в огонь бросить! — с раздражением крикнула Тойчи, увидев в областном музее чучело шамана. — У нас в колхозе шаманов нет, а в городах их показывают людям.

Эркелей терпеливо объяснила матери значение музея, кое-как убедила её, что здесь стоят чучела, а не живые люди, звери и птицы.

* * *

Сейчас они ехали через Чолмонский хребет.

— Какой колхоз здесь табуны пасёт, ты знаешь? — спросила мать, заметив на траве свежие следы.

— Не знаю, мама, — ответила Эркелей и стала беспокойно оглядываться по сторонам.

„Он ведь писал, что летом со своими табунами будет на Чолмоне. Может он совсем недалеко... сидит где-нибудь около мохнатого кедра, не замечая, что трубка давно погасла. А он всё сосёт её... А я будто нарочно его не замечаяю, проезжаю мимо, словно его не люблю...“

Глаза Эркелей заблестели, она усмехнулась. Она, довольная, продолжала рисовать картину встречи: как он вдруг увидит её, поднимется...

Повод выскользнул из рук Эркелей, лошадь внезапно за что-то запнулась, и Эркелей чуть не вывернулась из седла.

— Что это ты, как ребёнок маленький, повод не умеешь держать? — упрекнула мать.

Эркелей остановила лошадь, потянула повод и ласково хлестнула коня зелёным прутиком. Лошадь прибавила шаг.

Недалеко от тропинки хором куковали кукушки. Тропинка вилась окружённая тучными травами и цветами. Эркелей сорвала огненный цветок и, прижимая его к груди, запела:

Среди цветов виднеется широкий брод,
Для моего бурого коня славный брод...
Любимый друг мой неизменный,
Словно вот этот горящий цветок...

— Когда большие горы переваливаешь, кричать и петь нельзя, — сказала мать.

Эркелей замолчала. Думы снова завладели ею.

„Неужели Шонкор здесь пасёт табуны? Напрасно по этой дороге поехали“, — печально подумала мать и стала торопить коня. Вскоре Эркелей и мать услышали мужской голос. Он пел протяжную песню. Тойчи прислушалась и вдруг крепко натянула повод. До её ушей долетели последние слова песни:

Самая красивая девушка на свете
Будет ли моим другом милым?...

Ещё не утихла песня, как недалеко от дороги фыркнули лошади.

„На священной горе табуны пасёт и не боится песни петь, какое сердце у этого человека?“ — с удивлением подумала Тойчи и решила не смотреть назад.

Эркелей замедлила шаг коня. Не слезая, она стала рвать козьи пучки и есть их. Постепенно она отстала от матери.

На белом коне, с ружьём за плечами и тёмносерым глухарём выехал из лесу Шонкор. Его смуглое лицо от солнца ещё больше почернело, толстые губы стали тёмносиними.

— Якшы ба, кару Эркелей?... Здравствуй, уважаемая Эркелей. — поздоровался Шонкор, подъезжая ближе.

— Ой!.. Якшы, якшы ба? Как я испугалась!.. Как же я не заметила...

Эркелей не договорила и опустила глаза. Некоторое время они ехали молча.

— Сегодня откуда едете?—смущённо спросил, наконец, Шонкор.

Эркелей ответила обиженным тоном:

— Вместо того, чтобы спросить, как училась, успешно ли окончила,—тебе понадобилось спросить о нашей ночёвке?

Эркелей спрыгнула с коня. Она сделала это неожиданно, Шонкор не сразу остановился. Привязывая коня к старой пихте, он чувствовал на себе глаза Эркелей.

Шонкор подошёл к ней. Их взгляды встретились. И словно отвечая на прочитанный в глазах Эркелей вопрос, заговорил Шонкор о своей жизни в этих молчаливых горах, о том, как он ночами, сидя около костра, сочиняет и поёт песни.

— Эти песни я посвящаю тебе,—сказал Шонкор и густым, как звуки комуса*, голосом запел:

Высоко в поднебесье птицы плывут,
Поднимусь ли я выше их?
Самая красивая девушка на свете
Будет ли моим другом милым?

Эркелей посмотрела на дорогу и тихо сказала:

— Надо ехать... Мама будет ругаться, что я осталась.

Шонкор взял Эркелей за руку и спросил:

— Что мешает вам жить вместе?

— Мама.

— Неужели ты веришь в проклятье?

— Я не верю ни в проклятье, ни в благословение.

— Значит с Чичканом хочешь жить Ладно, живите!—вспыльчиво сказал Шонкор и повернулся к коню.

— Чем с Чичканом жить, лучше по этой земле пусть не ходят мои ноги,—ответила Эркелей сквозь слёзы, обнимая шею своего коня.

Шонкор прыгнул в седло и, взявшись за повод, проговорил:

— Ну, дорогая, дай руку, прощаемся, будем живы, здоровы, через месяц...

Он не закончил фразу. Зажглись яркие лучи в его чёрных глазах. Хотел Шонкор подъехать поближе к Эркелей, но белый конь заупрямился.

„Видно, мать Эркелей такая же упрямая, как мой серко“.

... Эркелей догнала мать около деревни на последнем небольшом перевальчике.

Тойчи, дожидаясь на дороге Эркелей, рассуждала по привычке вслух:

* Комус — музыкальный инструмент (губно-зубной).

— Шонкора никак с Чичканом не сравнишь!.. В нашем роду никто ещё не нарушил данного слова.. Никто!...

Эркелей ещё в прошлом году выгнала Чичкана из аила. „Чем с Чичканом жить—лучше не жить“,—эти слова мать не раз слышала от Эркелей.

Шонкор и Эркелей выросли на разных урочищах. Они встречались только на собраниях. Возможно, они близко и не узнали бы друг друга, если бы не случай.

Однажды летом Эркелей поехала в город на бричке. В городе представители сельпо попросили её увезти товары. Эркелей согласилась. Дорогу размыли дожди. Эркелей торопилась, хотела доехать до своего колхоза без ночёвки. Было уже темно, когда она подъезжала к деревне где жил Шонкор. Вдруг будто кто вытолкнул заднее колесо из колеи оно соскользнуло с дороги. Бричка медленно покатила под обрыв. Эркелей прыгнула на землю, схватила лошадь под уздцы. Лошадь рванула вперёд и упала. Эркелей выпустила уздцы из рук, осмотрелась. По счастливой случайности переднее колесо зацепилось за низкий придорожный столб. Бричка висела над обрывом.

Эркелей несколько раз крикнула, призывая на помощь Гулкое эхо многократно повторило в ночной тишине её призыв, но никто живой не отозвался на него.

Снять с брички товары, вытащить на дорогу—всё это не под силу Эркелей одной. Она стояла около лошади и время от времени кричала:

— Э-эй! Сюда идите! Сюда!

Так прошло минут десять-пятнадцать. Наконец, Эркелей услышала чьи-то шаги. Мужской голос громко спросил:

— Что здесь случилось?

Это был Шонкор, но Эркелей узнала его только тогда, когда уже бричка вновь стояла на дороге.

В ту же осень они встретились на аймачном совещании ударников по животноводству. Вместе сидели в президиуме. Эркелей премировали шерстяным костюмом. Шонкора—патефоном. На этом совещании Эркелей вызвала Шонкора на социалистическое соревнование.

Тойчи твердо решила не оглядываться, пока не доедут до дома. Но решение это выполнить ей не удалось. Не выехали они ещё из густого леса, как недалеко от дороги раздался басистый крик курана и земля словно качнулась от этого крика.

— Кто едет с ружьём, тот не кричит около дороги,—испуганно забормотала Тойчи.

— Вы когда-нибудь в козла стреляли или нет?—спросила Эркелей.

— Эйт!—нехотя ответила Тойчи и вдруг повернулась назад.—

Бабы раньше разве могли взять ружьё? Раньше мы, женщины не только козлов стрелять, даже ружья мужского взять в руки не имели права.

Тут голос Тойчи понизился.

— Давно это было... Мы от зимней стоянки к летней собирались кочевать. Отец твой на дворе навьючивал последнее старьё. Во всём аиле только у твоего отца было ружьё. Я совсем не ожидала беды, хотела помочь ему вынести ружьё из аила... Дальше ничего не помню... Когда опомнилась, правая моя щека была разбита прикладом...

На этом рассказ матери оборвался.

— Почему женщины не могли брать в руки ружьё, в чём тут грех?

— Раньше женщины погаными считались... Ружья нельзя было им в руках держать, божков-идолов нельзя было руками касаться, на коня, обрызганного кобыльим молоком и окуреного можжевельником, нельзя было садиться...

Эркелей, заметив, что мать смягчилась, спросила:

— Вы, мама, с моим отцом любя сошлись или вас насильно женили?

— Эйт! Какие у тебя вопросы? Об этом что ли думаю, — ответила Тойчи, передёрнула повод и лошадь поскакала рысью.

* *

Солнце скрылось за гору. Тойчи взяла полйоник, хотела отлить воды в медный чайник, поставить его на очаг и идти доить коров. В это время она увидела своё отражение в воде...

Когда она была молодой, люди говорили: „Тойчи лучше всех девушек“.

„Кто верхом проезжает мимо моей дочери — слезает с коня, чтобы на красоту её посмотреть. Кто пешком идёт — останавливается, чтобы посмотреть на Тойчи. Пятьсот рублей деньгами и пять хороших лошадей возьму, когда замуж отдам свою дочь“, — распевала когда-то с гордостью мать Тойчи.

Вскоре после выхода Тойчи замуж к свёкру приехал купец. Перед отъездом он подарил хозяину маленькое зеркало. Свёкор подарил купцу четырёхлетнего вола. Сначала свёкор показывал зеркало только своей семье. Потом стали приезжать соседи, чтобы увидеть себя в волшебном стекле. Когда охотников оказалось очень много, свёкор сказал своей жене: „Спрячь, пожалуйста, зеркало в ящик“.

Тойчи тогда впервые увидела себя в зеркале. У неё было румяное лицо, брови дугами, глаза блестели, как чёрные бусы. Нос не приплюснутый, а высокий, с горбинкой: мать называла её — „овечий нос“. Косы спускались ниже пояса.

Силой Тойчи не уступала любому мужчине. Жеребят она ловила как барашков.

А вот сегодня она увидела в воде совсем другую Тойчи. Румянец словно ветром унесло. Вместо него остались на лице только тёмные шрамы—следы от побоев мужа. Глубокие складки легли на лбу. Чёрные глаза словно пеплом заволокло. Волосы поседели...

— Эх, где моя молодость?—вздыхнула она.

Подойдя к коров, она вошла в аил. Эркелей уже ушла на заседание правления колхоза. Тойчи одна осталась, села пить чай.

Она думала о своей жизни—настоящей и прошедшей.

Её сын Бичик в рядах Красной Армии, охраняет социалистическую родину. Её дочь Эркелей уже несколько лет в колхозе ударницей. И сама она, несмотря на преклонные годы, на работе—пример молодёжи. Она доярка и выработывает до трёхсот трудодней.

Родители Тойчи были бедные. С семи лет Тойчи баям коров доила с десяти—глину месила, араку варила. Ей не было ещё и шестнадцати лет, когда её силой выдали замуж за богатого алтайца. Во время свадьбы молодые женщины и мужчины, держа в руках трубки, пели похвальные песни, а Тойчи с раздражением смотрела на своего молодого мужа.

Эркелей не было ещё годз, когда муж однажды утром явился пьяным.

— Арака есть? --закричал он.

Тойчи кормила Эркелей, ответила дрожащим голосом:

— Откуда у нас арака?

Пьяный и грязный муж схватил головешку и стал избивать жену.

Тойчи, чтобы спасти Эркелей, выбежала из аила, хотела спрятаться у соседей. Но соседка вышла из своего аила тоже с заплаканным лицом...

— Вот жизнь женщины при зайсанах и баях была какая,—сказала вслух Тойчи и сбросила с себя шубу.

„Если бы меня силой замуж не отдали, наверное, мои дети все были бы живы.. Сколько бы родни у меня было!..“

Защебетали ласточки свившие гнёзда около дымохода. Тойчи взглянула вверх: небо уже потемнело. Тойчи медленно встала, собрала горячие угли в кучу, и яркое пламя осветило аил.

* * *

По скользкой тропинке конь скатился метра на три вниз, словно на лыжах, и не упал.

— Молодец мой гнедой,—похвалил Шонкор коня.

Недавно прошёл дождь, но солнце уже снова ослепительно

блистало в ясном небе. Зеленели шёлковые травы, красно-белые цветы горели, как огни.

Богатая земля.

«Пасты скот надо умеючи. Вот в таких чашеобразных долинах табуны хорошо пасты зимой. До первого снега — на горных лугах. Тогда колхозный скот будет сытый, здоровый». Так думал, спускаясь с горы, бригадир-животновод Шонкор.

На этот участок его недавно выдвинули сами колхозники.

Как во сне помнил Шонкор своего отца. Он тридцать пять лет ходил за байскими табунами, редко жил дома. Когда Шонкору было девять лет, отец погиб под снежным обвалом. А через год умерла и мать. С тех пор Шонкор сам стал пастухом у бая Саныша. Холодными ночами Шонкор грелся, прижимаясь к спавшим овцам. И овцы, словно жалея, ласково смотрели на него своими бронзовыми глазами.

Шонкор полюбил животных, как лучших друзей своего детства.

Семнадцати лет Шонкор пришёл в колхоз и сказал:

— Я хочу быть у вас пастухом.

Лучшего колхозного пастуха в районе нельзя было найти. Шонкора много раз премировали. Минувшей осенью ему дали новую избу с обстановкой.

Вот тогда и сказал Шонкор самому себе:

— Что я буду делать в этом доме один? Не буду я жить в нём один...

Сегодня Шонкор ехал поговорить с председателем колхоза.

Когда он был с табуном на горе, чего только не приходило в голову. Вот в горнице, рядом с большой кроватью, стоит маленькая, окрашенная зелёной краской, кроватка. Там лежит такой же, как сам Шонкор, смуглый ребёнок. Шонкор — отец! Когда через два-три Шонкор будет рассказывать своему сыну сказки. Потом, когда сын подрастёт и будет учиться, Шонкор расскажет ему, как жили бедные люди до революции, при баях. Быль расскажет, правду...

Приезду Шонкора председатель колхоза обрадовался.

— Мы уж собирались за тобой посылать, хорошо, что приехал сам. Ты теперь животновод, член правления, должен быть поближе к нам.

После продолжительного разговора на всякие темы председатель сказал:

— Жениться тебе, брат, надо! А то — дом большой у тебя, а пустует.

— Как вы смотрите на Эркелей? — после некоторого молчания спросил Шонкор председателя.

— Хорошая девушка. Кто скажет что-либо против Эркелей,

тот найдёт щербинку в небе, — смеясь сказал председатель. — Я голосую! — и поднял обе руки.

Шонкор вышел из конторы. Направо от конторы колхоза стоял покрытый тёсом пятистенный дом. Шонкор направился к нему.

* * *

Когда из капкана вырется соболь, очень огорчается охотник. Так сегодня Тойчи огорчена тем, что Эркелей выгнала из аила Баланку с сыном Чичканом.

Тойчи поздно вернулась домой с работы. Сегодня стригли овец. Она не успела выпить чашку чаю, как вдруг открылась дверь аила, впереди шла Баланка, сзади сын Чичкан. Они несли кожаные ташауры, в которых булькала арака. Тойчи поняла, что они уже приехали за Эркелей.

Чичкан был одет в белую, покрытую шёлком, мерлушковую шубу, привезенную его отцом из Монголии ещё тогда, когда он был приказчиком Боробоша. Выдровая опушка блестела на шапке. Сам Чичкан был печален, задумчив и это заметила Тойчи. Баланка улыбалась всеми своими морщинами. Обе косы она спустила через плечо, её губы были согреты аракой. Она весело разговаривала.

Открылась дверь и вошла в аил Эркелей.

Она задержалась на мгновение на пороге. Потом молча прошла по женской стороне аила, перешла на мужскую и строго смотря на мать, спросила:

— Кого ты продала, мама, с кем ты выпиваешь?

Мать не нашлась, что ответить, встала, глотая слезы, и подошла к Эркелей, чтобы обнять её. Но Эркелей отошла к выходу.

— Дитя... дитя моё!.. Это наши родные. Они раньше за тебя одного коня дали..

— Я уйду из этого аила, — сказала Эркелей.

Тойчи почувствовала, что дочь говорит это совершенно серьёзно, в последний раз.

Она уцепилась за платье Эркелей и, вся в слезах, заговорила, показывая глазами на Баланку и Чичкана.

— Они наши родные.. Не уходи, моё дитя! Я сама просила, чтобы они тебя сватали. Пойми же, моя глупенькая, — ты должна пойти сегодня с ними в дом, где уже пятнадцать лет горит твой огонь и постель твоя никогда не остывает!..

Эркелей вырвалась из рук матери, как вырывается выдра из слабого капкана и, подойдя к двери, твёрдо произнесла:

— Дверь открыта!

Баланка молча посмотрела тусклыми глазами на сына, дро-

жащей рукой подняла ташаур с кислой аракой и направилась к двери. За ней, тяжело ступая, последовал Чичкан.

Когда они ушли, Эркелей сказала матери:

— Милая мама, вы преклонились перед кислой аракой, перед старой проклятой привычкой. Неужели вы забыли свою прошлую жизнь? Скоро вы её забыли! Неужели исчезли раны на вашем лице?

Мать ничего не ответила. Она забыла, что у неё в трубке нет табаку, беспрестанно подносила к трубке головешку, растерянно сосала мундштук.

Этот вечер показался Тойчи самым тяжёлым в её жизни.

Был у Тойчи в молодости любимый. Но байская воля решила судьбу Тойчи. Её продали нелюбимому человеку. Через месяц Тойчи пришла к отцу с матерью с синяком под левым глазом. Они сквозь слёзы сказали:

— Ты теперь не наша. Твой хозяин — муж.

Муж после смерти отца пропил и проиграл в карты всё имущество.

Тойчи выделявала овчины, шубы шила, овец стригла. Так вскормила двух детей. Однажды она баю Ярык-Каланчу двадцать овчин отделявала. За это бай обещал дать обноски для шестилетнего ребёнка. Всё лето она провозилась с овчинами, когда принесла их баю, попросила обещанную шубёнку.

— Ваш муж у нас полтора рубля денег получил. Если возвратите, получите шубёнку, нет — тогда я не могу вам шубу дать, — ответила жена бая.

* * *

Прошёл месяц, Алтай уже стал красно-жёлтым. Вершины высоких гор поседели.

Тойчи готовилась к зиме. Она сшила из семи овчин новую шубу.

Сегодня свадьба Шонкора и Эркелей.

— Вы обязательно вместе с нами поедете на свадьбу, — говорил Тойчи несколько раз председатель колхоза.

Но Тойчи твёрдо решила остаться дома. Нет такого обычая у алтайцев, чтобы мать присутствовала на свадьбе своей дочери. Кроме того Тойчи занята работой. Затем вот сын приедет...

Сегодня старик Артыш привёл Тойчи в хорошей серябряной сбруе оседланного вороного коня.

— Я еду на свадьбу Эркелей. Для тебя кони хорошего привёл.

— Не беспокойтесь, — перебила Тойчи старика. -- Коня уведите и расседлайте, я не поеду.

Тойчи зря не посмотрела на Артыша. Если бы она взглянула на него, она заметила бы, как жаркая кровь играла на морщинистом лице Артыша, молодила его.

Потом сам председатель приехал и тоже приглашал Тойчи на свадьбу.

Тойчи попрежнему безучастно говорила:

— Не беспокойтесь. Я занята. Зима недалеко.

— Тогда не обижайтесь на нас, — сказал председатель и ушёл.

Когда колхозники уехали на свадьбу, прибежал мальчик и с удивлением спросил Тойчи:

— Вы не поехали на свадьбу, тётя?

— А тебе что за дело до этого? — неприветливо отозвалась Тойчи.

Мальчик растерялся, даже покраснел.

— Я так просто... Я только хотел вам сказать, что они погнали для Эркелей за трудодни двадцать шесть овец. Да ещё много других подарков...

Тойчи поднялась. Что-то словно встревожило её.

— Ах, ты, неладный, уйди отсюда... Почему же ты раньше ко мне не пришёл и не сказал об этом. Я бы им показала трудодни!

Тойчи бросила шубу, распахнула дверь избы.

Она забыла, что у неё стоит в конюязи оседланная лошадь, и бегом направилась за колхозниками...

Сначала ей казалось, что она бежит очень быстро. Даже со-рока, летающая вдоль дороги, отстаёт. Потом она увидела, что впереди неё корова идёт очень медленным шагом, а она не может её обогнать. Тут только Тойчи поняла, что ноги не слушают её. И она вспомнила о вороном коне, которого привёл старик Артыш. Но возвращаться не хотела.

Тойчи рисовала себе картину своего прихода на свадьбу.

Прежде всего она побьёт костью дочь за то, что Эркелей велела пригнать овец. Затем Тойчи, сквозь слёзы и обиду во всеуслышание скажет:

— Я тебя девять месяцев в утробе носила. До двадцати лет кормила, воспитывала. На твоё лицо садиться мухам не давала, ноги твои берегла от укусов мурашей. Потом тебя, пятилетнюю, сватал жених... А ты... ты ушла к нелюбимому мною Шонкору. Я всё же не прокляла тебя... Теперь — иди домой. Я буду распоряжаться по-своему.

Так бормоча, Тойчи дошла до поворота. Навстречу показалась тройка рыжих коней, запряжённых в тележку на железном ходу.

В ходке сидел молодой алтаец и две молодые алтайки. Тойчи

не обратила на них внимание, прошла мимо. Но они повернули коней и, догнав Тойчи, предложили ей сесть в тележку.

— Не уговаривайте, — ответила Тойчи. — Я не маленькая девочка, словами меня не возьмёте. — Она помолчала и немного мягче проговорила: — Как пить хочется!

Молодые колхозники проворно достали из-под белой кочмы кожаный ташаур. Тёплая, едва заметная улыбка скользнула по тонким губам Тойчи. Она присела на бугорок.

— Пешком немного трудно идти старой женщине, — сказала она, взяв от колхозников чашку араки.

Но всё-таки сердце Тойчи не смягчилось. Она пила араку по привычке. Украдкой взглянула на цветущих, как пионы, колхозниц на молодого колхозника, румяного, как алый маральник, и отвернулась...

Она опять думала о дочери. Разве можно простить Эркелей, что она ушла из дому тайком, не простившись даже с матерью? Разве не обиден тот шум, что своим уходом подняла Эркелей во всей колхозной деревне?

Тойчи встала сегодня рано, но Эркелей уже не было дома, и Тойчи пошла к старику, сторожу Артышу.

— Ты видел Эркелей? — войдя в аил и остановившись около порога, спросила Тойчи.

Артыш ещё не вставал.

— Нет, не видал. Разве потерялась? — ответил он, улыбаясь, и накрыл голову шубой.

Тойчи стала тормозить Артыша, спрашивая:

— Ты видел Эркелей? Видал?

Артыш несколько минут лежал будто глухой. Потом сбросил с себя шубу, быстро встал. Его седые волосы поднялись дыбом. Он, словно петух, приготовившийся к бою, стоял перед Тойчи.

— Пойдём! Я покажу тебе все амбары. Ищи свою Эркелей, где хочешь! — сказал он и, взяв за руку Тойчи, вышел с нею из аила.

Прибежали колхозники. Артыш и Тойчи, обходили амбары. Колхозники сначала подумали, что сторож Артыш проспал и воры утащили колхозное добро.

— Где моя Эркелей? — спрашивала Тойчи, вытирая слёзы рукавом и дёргая за руку старика.

— Откуда я знаю!.. Я тысячу раз говорю тебе одно и то же. Я ведь амбары караулю, а не людей.

Колхозники поняли в чём дело.

— Не ищите, — сказали они. — Мы скоро поедem на свадьбу нашей любимой Эркелей. Не волнуйтесь, она живая!

Всё это вспомнила Тойчи сейчас, сидя на бугорке с чашкой араки в руках.

Колхозники опять пригласили поехать с ними.

— Нет, мой отец не видел следов колёс и я не желаю садиться в тележку, — упрямо заявила Тойчи и дошла до колхоза „Кызыл-Тандак“ пешком.

И тут навстречу Тойчи вышли с музыкой и пением колхозницы и колхозники.

Тойчи остановилась. Пот струился по её морщинистым щекам. Некоторое время она не знала, что ей делать, что говорить.

Потом, не глядя никому в глаза, она пошла прямо.

— Мама, мама! — вдруг раздался голос Эркелей.

Дочь бросилась к матери, хотела её обнять, но Тойчи отстранила её от себя. Она твёрдо решила, войдя в дом, выложить все свои обиды, так твёрдо, что никакой снежный обвал не опрокинет её, ни одна бурная река не собьёт с ног, никакой богатырь не остановит. И она шла вперёд, к дому Шонкора.

Колхозники расступились. Двери пятистенного дома распахнулись. Запахи цветов овеяли Тойчи. Но Тойчи ни на что не обращала внимания. Она видела только стол, покрытый белой вышитой скатертью, на которой стояли кушанья.

Почему она шла к столу, Тойчи и сама не знала. Она уже схватилась за край скатерти и потянула её к себе, когда услышала знакомый голос:

— Что вы делаете, мама? Здравствуйте, мама!

Это был голос любимого сына — Бичика. Когда Бичик уезжал в Красную Армию, на нём была полуизношенная куртка, на голове алтайская шапка с кисточкой. А теперь он был в форме пограничника: зелёная фуражка, зелёные петлицы с двумя треугольниками. Лицо полное, весёлое.

Он, приблизившись к матери, взял её за руку. Тойчи растерялась. Её тонкие губы коснулись щеки сына.

Она заговорила:

— Ты почему прямо домой не поехал, остановился здесь?

— Разве такой радостный праздник можно мимо проехать? — ответил Бичик.

В избе стало тихо. Все ждали, что будет дальше...

Тойчи оглянулась кругом. Она увидела на окнах длинные тюлевые шторы, мягкий диван, мягкие стулья, цветы. Она забыла, зачем бежала сюда пять километров. Она села на мягкий диван, посадила рядом сына и тогда заметила, что по другую сторону, рядом с ней сидит председатель аймэкисполкома Кудрин.

Тойчи спросила его.

— Ты куда поехал, товарищ Кандр?

— Я приглашён на свадьбу двух знатных людей нашей области, — ответил Никандр Иванович.

Наконец, столы были все накрыты. Колхозники сели за них. Председатель колхоза выступил с приветственной речью. Затем говорили колхозники. Они вручили невесте и жениху подарки.

Тойчи много видела алтайских свадеб на своём веку. На самом почётном месте сидели зайсаны, бай, камы а бедняки, держа в руках чашку с аракой, пели стоя похвальные песни им. Много было крику и всегда были драки.

Не то увидела Тойчи сегодня.

Все сидят, у всех весёлые лица.

Поднялся Никандр Иванович Кудрин.

— Я свой тост поднимаю, — сказал он, — за счастливую мать нашей любимой Эркелей!

— Правильно! — поднял чашку Артыш. — Я тоже за неё и за пятикилометровый пеший переход шестидесятилетней женщины!

Тойчи машинально взяла чашку, стоявшую перед ней, и звонко произнесла:

— Разве пять километров большое расстояние? На такой счастливый праздник можно пройти пешком и пятьдесят километров!



СТУДЕНТАМ И СОЛДАТАМ

В те дни, когда мы вместе жили,
Встречались в день по много раз,
Мы очень много дорожили
Всем тем, что дорого для нас.

Не знали мы, как скоро, скоро
Уйдут в далёкое вчера
Студенческие наши споры,
Мечты, зачёты, вечера...

Стрелки, разведчики, пилоты —
Покинем кров родных домов,
И пыль покроет переплёты,
Любимых, избранных томов.

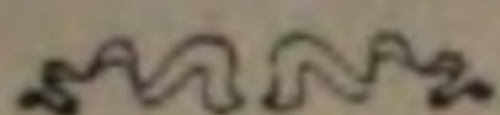
А воинские эшелоны
Такие сделают концы.
Что нас не сыщут почтальоны —
Судеб упорные гонцы.

А сыщут, что ж, и это было —
„Погиб от раны пулевой...“
Был друг, и даже нет могилы —
Лишь номер почты полевой.

Судьба учила нас жестоко,
Кропя снежинками виски.
Теперь, когда друзья далёко,
Мы знаем, как они близки.

Когда мы гатлеровцев били,
Дружа с винтовкой, славя штык,
Мы книгу пуще полюбили,
Хоть часто было не до книг.

Нам ближе небо голубое
И слаще хлеб родных полей.
И вся очищенная с боем
Нам стала Родина милей.



ДРУЗЬЯМ

Там и сейчас звенят звонки...
Географ в класс заходит с картой.
Притихшие ученики
Рассаживаются за парты.

В сугробах русскую избу
Рисует мальчик, бор сосновый,
И первоклассница из букв
Впервые складывает слово.

Мне кажется, туда зайти,
В свой класс, к доске, истёртой мелом,
И кто-то детство возвратит —
Мальчишкой сделает несмелым.

И все друзья придут туда,
С кем мы учебники листали,
С кем вместе, торопя года,
В алтайской школе вырастали.

Чуть побледнею я, когда
Замечу девочку меж ними
С глазами синими, как даль,
Немного строгими и злыми.

Сверкать на солнце будет снег,
Сухой мороз румянить щёки,
И мы домой, как прежде, с ней
Пойдём, закончив все уроки.

Пойдём, как прежде, не спеша,
По узким улицам знакомым,
Но только не ускорю шаг
И не сверну к родному дому.

Я вдруг заговорю о том,
О чём мы с ней всегда мечтали,
Как под её пустым окном
Стоял я тёмными ночами;

Как ей признаться не дерзал.
Как злился, ревновал порою,
Как виделись её глаза,
Лишь только я свои закрою.

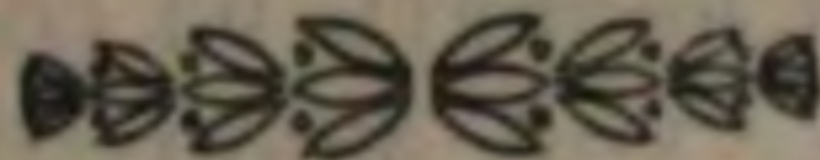
За много вёрст теперь она,
Давно прошедшее — не в силе:
Всё перепутала война,
И годы всё переместили.

Друзья по свету разбрелись,
Им не собраться в старой школе,
И далеко шагнула жизнь,
И детство далеко до боли.

Но где бы ни пришлось нам быть,
Не может никакая сила
Всех тех заставить позабыть,
С которыми судьба сводила.

Пусть наш солдатский путь далёк,
Пусть меньше встреч, чем расставаний —
Нас не осилит власть дорог,
Потерь, годов и расстояний.

Любовь и дружбу сохраняя,
На верность русскую помножив.
Я знаю — выйдем из огня
Нужней друг другу и дороже.



А. ДЕМЧЕНКО

ПОТОМОК ДЬЮГЮРЮКА



Самым страшным казалось не то, что „Резвый“ может, например, спотыкнуться на неровной дороге и Яит свернёт себе шею. Нет, не это страшно. Смелые сердцем не думают об опасности. Дело в том, что вот уже полпути прошёл к финишу „Резвый“, а рыжий, лоснящийся круп „Горностая“ ни на метр не приблизился к Яиту. „Горноста́й“ шёл ровным, спокойным налётом и бока его даже не блестели от пота. Яит видел его красивую тонкую шею из-за спины Таныбаса и нервно вздрагивающие чуткие уши. Правда, Таныбас уже не раз огрел его плетью по поджарым бокам, а на повороте с тракта „Горноста́й“ неловко зацепил ногой и чуть не сбросил седока, но расстояние между ними попрежнему не уменьшалось.

Яит прилёг на луку седла и запустил дрожащую руку под гриву коня.

— Прибавь!.. Прибавь!.. Ребята ждут, дружина... Село ждёт. Прибавь! Давай! Давай!..

„Резвый“ повёл ушами и попросил повод. Яит обрадовался.

— Пошёл!.. Пошёл!..

Вдруг „Резвый“ тряхнул удилами и сбавил ход. Яит вспотел от обиды.

— Капризничать? — он зло взмахнул плетью.

В это время наездники вылетели на небольшую высоту. Пе-

ред ними засверкала снежная долина. Показалось село с прямыми дудками дыма. Ровная, чуть побуревшая дорога стремительно упала в долину. От „Горностая“ повалил пар. „Резвый“ сменил ногу, и поэтому немного приотстав, легко стал обходить его справа. Грива жёстко свистнула и ударила Янта по лицу. „Резвый“ вытянулся. „А я не догадался, думал, капризничает, уросит.“ — обрадовался Янт.

— Вперёд! Вперёд! — крикнул он, видя, как придвинулся жирный зад „Горностая“. Зло кусая удила, тот тяжело всхрапывал и косил сердитыми зрачками.

— Вперёд! Вперёд! — колени Янта суторожно сжимали коня. Вот наездники поравнялись. Минутку — две кони шли рядом, бок о бок. Таныбас нервничал и со злостью кричал на „Горностая“. Обессиленный жеребец, роняя клочья пены с удил, тяжело и со свистом дышал. На одно мгновение увидел Янт дрожащие, розовые ноздри „Горностая“ и вдруг почувствовал, что повис в воздухе. Хрустящим свистом взвизгнула грива. Седло уходило из-под него. Едва хватило сил удержаться от крепкого порыва ветра, рванувшегося с земли на него.

„Резвый“ выходил на середину дороги. Теперь уже впереди Янта никого не было. Вытянувшись, летел „Резвый“, почти не касаясь земли. Вот и посёлок. Ровные домики совхоза вытянулись и справа и слева. Дробный топот копыт отчётливо застучал по обледепевшему мосту. Вот и площадь. Народ стоит. Дрожит протянутая кумачёвая лента. Радостные крики услышал Янт. Будто гул человеческих голосов полоснул воздух хлопком бича. Вдруг какой-то старик, размахивая рукавами козьей дохи, бросился прямо под ноги мчавшемуся с прежней силой скакуну. „Резвый“ метнулся в сторону, разрывая грудью ленту, и Янт, вылетев из седла, повис на его шее.

* * *

Старого Эртечи подняли с земли. Он тряс реденькой бородой и слабым дрожащим голосом твердил:

— Это он... Я узнал дьюгюрюк ата*!..

Янт, окружённый ребятами, сияющий и возбуждённый подошёл к старику.

— Разве это дело, старик, чтобы коню под ноги бросаться?

Эртечи вздрогнул и, протянув руки, пошёл ему навстречу. Он шёл, высоко держа голову, уставив взгляд куда-то поверх толпы.

— Кто ты, наездник, на лихом коне? — сказал он прерывающимся голосом. — Кто ты, что имеешь такого скакуна? Откуда он? Как

* Дьюгюрюк ат — быстроногий конь.

звать его? Пойдём к нему. Пойдём. Веди меня... Я хочу погла-
дить его колени. Потрепать его чёлку... Веди меня к коню юно-
ша...

Яит переглянулся с ребятами и, взяв старика за руку, нап-
равился в конюшню. „Резвый“ ещё не остыл. Он бил копытами
по деревянному полу, не желая стоять на выстойке.

Старик смело подошёл, пощупал голову коля, взялся за чёл-
ку. Дрожащими пальцами стал перебирать спутанную прядь

— Здесь у него коси́ка? Всегда здесь?

— Всегда. — Сказал Яит. — Даже, говорят, когда был жеребён-
ком...

Эртечи молча кивнул головой. Потом нагнулся и ощупал пястье.
Жеребец обнюхал его шубу, фыркнул и стал перебирать но-
гами.

— Благородная кость... Тонконогий... — взволнованно шептал
старик. — Скажи, не белоногий ли твой конь?

— Белоногий, — удивленно подтвердил Яит.

— Коньто прямое?

— Да, да...

Старик отшатнулся от жеребца, поднял руку и взволнованно
сказал:

— Я узнал его по походке. Это он... Это потомок бесподобно-
го „дыюгюрюк ата“. — Старик поднял голову. — Лучшего коня на
всём Алтае. И хозяином его был Эртечи.

Старик вытянул руки и вышел из конюшни. Поражённые та-
инственностью его слов, ребята несколько мгновений молчали.
Первой сказала Янар:

— Расспросим его об этой тайне... Пригласим к себе на костёр...

— Это, наверное, горькое что-то, если ему так тяжело. — ска-
зал печально Яит.

— Но ведь интересно!.. Это касается нашего „Резвого“! —
поддержали ребята девочку. — Надо узнать эту тайну!..

В конюшню вошло несколько мужчин. Впереди шёл директор
конезавода.

— Вот они куда запрятались! — воскликнул он, увидев ребят.
— А мы ищем — куда делся победитель? Поздравляю, Яит! — Ди-
ректор протянул руку. — Спасибо вам всем, ребята, за хорошее
шефство. Каков молодец, а? — хлопнул он по крупу „Резвого“.
— Обставил „Горностая!“. Как думаешь, Яит, не пора ли ему по-
тягаться с сибирскими знаменитостями на краевом ипподроме, а?

Глаза Яита блеснули радостью:

— Он, Фёдор Петрович, хоть в Москву...

— Ну в Москву, не в Москву, а на краевые, пожалуй, риск-
нём.

— Он меня слушается. — добавил Яит, боясь, как бы директор не взял другого наездника.

Фёдор Петрович улыбнулся и пощипал чёрный опущенный ус.

— Ты поедешь. Ты. А сейчас пойдём. Премию получишь.

Они вышли из конюшни и направились к клубу.

У дверей клуба, на широком крыльце, столкнулись они с Таныбасом. На руке у него болталась короткая плеть. Он был угрюм.

— Пойдём, Таныбыс, — сказал директор. — И тебе присуждается премия.

Таныбас удивлённо посмотрел на него.

— Пойдём, пойдём... Не твоя вина, что у „Горностая“ не хватило выдержки. А „Резвого“ и ветер не догонит... Ты ухаживал за обоими, старался... „Горностай“ не плохой аргымак.

Яит просиял. Ему было жаль Таныбаса.

— Идём, — сказал он Таныбасу. — Ведь мы не байские наездники. Ведь это наши скакуны.

Таныбаса окружили ребята и втокнули в дверь. Вся пионерская дружина, под шумные рукоплескания и восторженные крики собравшихся, прошла вперёд.

На ярко освещённой сцене стояли мягкие стулья и большой стол, накрытый красным сукном. Фёдор Петрович открыл собрание и когда назначали президиум, Таныбас вдруг пронзительно крикнул:

— Яита!

Все захлопали в ладоши.

— Яита!

Директор, улыбаясь, записал на бумажку имя мальчика.

Смутно помнит Яит, как пришёл он и сел за красный стол президиума. Страшно было поднять глаза. Лица людей сливались, рябило в глазах от нарядов. А ярче всех была косынка Янар. И куда не отвернётся Яит всюду горят чёрные как уголь, глаза Янар. Никак не мог он сосредоточиться и послушать о чём говорил Фёдор Петрович. Казалось, что все смотрят только на него, Яита. Вдруг он услышал тихий старческий голос из за кулис. Старик возражал кому-то:

— Не о том я буду петь сегодня... Нет. Эртечи расскажет про коня, какого свет не видел...

— Зачем же вы так переживали сегодняшние скачки? — упрёкнул девичий голос.

— Сердце моё поёт о нём. Я не пойду против сердца.

Яит вспомнил слепого топшуриста; его дрожащие пальцы, гладившие ноги скакуна, взволнованный шопот. Захотелось скорее узнать тайну лучшего на Алтае коня. Тем временем Фёдор Петрович закончил доклад, развязал большой узел, положен-

ный у стола, и объявил фамилии премируемых за хорошую работу.

— Иди. Что же ты сидишь?—локтем ткнул Яита сосед.

Яит вскочил и растерянно посмотрел в зал. Ему шумно аплодировали и кричали. Янар обожгла его чёрными искрами глаз. Фёдор Петрович подал ему большой пакет, перевязанный голубой нитью. Яит прижал подарок к груди не зная, что делать.

— Скажи. Яит.. Скажи пару слов. Все говорят...

Яит кашлянул и хрипло пробормотал что-то невнятное. Сам и то не понял, что сказал.

— Громче! Смелее, Яит!..

Тогда Яит неожиданно для себя выкрикнул в зал:

— Вы ничего не знаете про „дьюгюрюк ата?“ Нет? Пусть расскажет Эртечи!.. Вот я кончил... А как я буду работать? Мы возьмем шефство над „Горностаем“ и поможем Таныбасу выходить его таким же! Вот.

Люди удивились его речи. С нетерпением ждали появления знаменитого топшуриста.

Кончилось торжественное вручение подарков. Занавес задернули, потом открыли и все увидели на сцене слепого сказителя. Он тронул струны топшура, и тот запел, зазвенел, как живой человеческий голос. Под его песню заговорил Эртечи:

У памяти цепкие руки,
У времени чуткие уши,
У сердца певца
Огонь не потушишь...
Сердце топшура.
Как солнце, юно,
Голос топшура вечно молод..

Так начал Эртечи свою песню.

Бежит Катунь река
По ущельям гор,
По долинам в пене плёса
Несётся гордая дочь Алтая.
В долинах травы сочные.
Пастухом безродным
Пас байский скот
Эртечи батрак.
Молод был Эртечи
И кто скажет, что он
Был нехорош собою?

Лёгкая улыбка скользнула в углах старого рта и топшур зазвез-

шел молодо и, как показалось Янту, даже весело. Но продолжалось это одно, едва заметное, мгновение. Вот Эртечи вздохнул, дрогнули седые брови, сдвинулись к переносице, будто хотел Эртечи отогнать прочь образ молодости, мелькнувший светом в его воспоминании, будто неуместен был он в печальном рассказе. Запел Эртечи, и встали перед Янтом мрачные, необжитые долины, редкие аилы пастухов у горных источников... Дым костра... Табуны байских диких коней. Вот Эртечи в оборванной шубе, молодой и сильный объезжает хозяйский табун... В долину спустился купеческий караван, навьюченный монгольской шерстью... Долго смотрит ему в след Эртечи. Что за страна лежит там за горами, куда ушёл караван? А к вечеру заметил длинноногого жеребёнка, который пристал к табуну. Он бил звенящую гальку тонкой ногой и жалобно звал мать, Эртечи ухитрился, поймал его. Долго не мог приручить дикого, непокорного жеребёнка Эртечи. Потом смирился тот. Стал есть из его рук вкусную траву, покорно шёл на поводу к реке. Хорош был жеребёнок, так хорош, что когда он подходил к Катунь и касался дрожащими гуттаперчевыми губами зелёной воды—светлела Катунь, стелилась перед ним ровно и плавно.

Не мог нарадоваться на него Эртечи. Вырос незаметно жеребёнок и не было резвей его в несметных табунах бая. И назвал его Эртечи „Дьюгюрюк атом“. Пело от радости сердце батрака. Экое счастье пришло к нему само! „Дьюгюрюк ат“ был чуток, как горный марал, и быстр, как ветер. Но беда уже подкарауливала бедного батрака. Однажды, считая свои табуны, бай увидел „Дьюгюрюк ата“.

— Ого!—воскликнул обрадованно бай,—какого ты мне жеребёнка вырастил!

И жално блеснул глазами.

— Это мой жеребец,—объяснил ему Эртечи,—из каравана отдали мне..

— Зачем батраку собственный конь?—ухмыльнулся бай.—Вон их сколько,—любого взнуздывай. Потом подсчитаем. А этого к моей коновязи приучи...

— Нет!—воскликнул Эртечи и вскочил на своего коня.—Много у тебя, бай, коней, но ни один из них хвоста не стоит моего „Дьюгюрюк ата!“

Поклонился Эртечи баю, слова не сказал больше и вихрем скрылся в ущелье...

В небе много красивых звёзд,
В песне много хороших слов—
Только мало счастливых дней
У бездомного пастуха...

Звенел топшур. Перед замороженным взором Яита развёртывалась в песне горькая доля взбунтовавшегося батрака. Вот едет он на своём лихом скакуне по лесу, и ветви берёз и елей служат кровом ему, бурные реки смывают пену и пыль с его коня, богатые травами долины — дают ему вкусные травы...

Видит Яит, как однажды, под вечер, выехал из ущелья Эртечи. Перед ним — небольшое урочище на берегу реки. Вдруг слышит он песню:

И остановился Эртечи поражённый,
И с коня соскочил, как безумный...

И к речке бросился, потому, что уж очень красив был голос у неизвестной певички:

Плыл по реке закат
Букетами красных цветов,
И пенились багряные брызги
У ног незнакомой девушки...

— Кто ты? — спросил Эртечи. — Почему в словах твоей песни так много печали?

Вскочила она, как птица испуганная шорохом зверя. Хотела бежать. На берег взглянула, но заметила Эртечи, коня его тонкого, покрытого пылью — сдержалась, монисты в косе ладонью прикрыла на груди и тихо сказала:

— Я дочь бедного чабана... Не о байской же доле петь бедной пастушке...

И слышит Яит её печальный голос и видит её улыбку и длинные ресницы, которые опустила она перед незнакомым всадником. Вот соскочил Эртечи на землю и к ней подошёл.

— В горах немало лихих наездников, — тихо сказал он, — молодых пастухов... Не тоскуешь ли по одному из них?..

— Нет, — ещё тише ответила девушка. — Меня жадный Дертыш берёт к себе в жёны. Так отец хочет. Не моя воля...

— Кто он, этот Дертыш? — спросил Эртечи и ненавистью блеснули его глаза.

— Он богат... Берегись, подслушают разговор наш — убьёт... У него много скота много людей злых, закормленных им... Коня его, будто маралы, резвы. Все, кто бегают с ним — оставляют коней своих. Он взаклад бегунов берёт... Завтра дьярыш. Сто бегунов сойдутся с бегунами Дертыша. А сам он сказал отцу: „Проси бога, Мундучи, чтоб за хвостом моего коня гнались бегуны — верну тебе проигранного аргымака, а ты мне дочь отдашь“... И отец согласился — он больше жизни любит своего аргымака.

Так сказала девушка, соскочила с камня на берег и пустилась бегом к своему аилу.

На долину спускались сумерки. Долго сидел Эртечи у реки. Сердце его разрывалось от ненависти к жадному баю и жалости к девушке. Вог уже стали съезжаться наездники в урочище. Лихие скакуны рвались с привязей, вспыхнули костры, задымили по всей долине. К аилу Дертыша богатые баи с окрестных стоянок приехали. Никто не заметил, как тихо на утомлённом жеребце своём проехал по урочищу Эртечи. Хотелось ему посмотреть на бегунов Дертыша. Его поразил один аргымак. Был он высок и строен. Как снег на белках, искрилась сверкала, его шерсть. Злыми зрачками метал он огонь, переминаясь с ноги на ногу. Возле него возился наездник в бархатных шароварах.

— А ну, убирай свою падаль! — крикнул он, брызнув слюною, навстречу Эртечи.

— Можно подумать, что своим гордишься ты конём, байский холоп, — сказал Эртечи и отъехал прочь.

— Эй, не задирай носа! Или палки запросила твоя спина?

Ничего не сказал Эртечи, хоть и обидны были эти слова. Потянул он за повод коня, рванулся тот и вынес его в долину. Там он расседлал жеребца, а сам постелил шубёнку, лёг на неё и уставился в небо... Одна за другой загорались звёзды. Входила большая луна. „Где же звезда твоя, Эртечи? Эти большие — богачи присвоили себе... А твоей и звёзды-то нет, бездомный батрак“..

Звёзды пылали над ним и были они похожи на мерцающие камни, заброшенные с земли сказочным богатырём.

Потом задремал Эртечи и вдруг увидел: девушка нагнулась к нему. В глазах её сверкали слёзы. „Эртечи, — сказала она, — Эртечи, выручи меня, если ты свободный наездник, если в жилах у тебя не пересохнет кровь от одного взгляда злобного Дертыша...“

Вскочил Эртечи, оглядываясь вокруг, как безумный, но никого не было видно. С гор в долину спускался туман. Блестела на траве роса, горели костры вдали и слышался пьяный смех.. Девушки не было.

Потупил голову Эртечи и побрёл по долине, сбивая с трав серебряные брызги. Долго ходил Эртечи, пока не устал. Тогда он бросился на землю и тотчас же крепко заснул.

Разбудил его конь, тронув копытом. Открыл глаза Эртечи — яркое солнце пылало над полем. Вскочил в седло юноша и вихрем помчался к урочищу.

Сто наездников на горячих конях плясали, поджидая Дертыша. Вот он вышел из аила, окружённый гостями и тяжело сел на белоногого бегуна. На изрытом оспой лице его надменно сияла улыбка.

— Эй ты! — Увидев Эртечи, закричал он. — Ты бы к моему

аилу сходил, на-ез-дник. Там в мусоре разном тряпки найдутся — узду разукрась своему тощему жеребцу! ..

Сказал насмешливо и гости угодливо засмеялись ему в ответ.

— Коня не тряпки красят—это каждому алтайцу известно, а ноги его,— ответил с достоинством Эртечи и стал самым последним.

Начался заезд. Нетерпеливо грыз удила конь Эртечи, бросаясь то вправо то влево на подходивших близко аргымаков. Нетерпеливо рвал повод из рук своего хозяина. Тот насмешливо глядел вокруг, уверенный заранее в успехе.

С гиком и сиистом рванулись наездчики. Закружилась, завертелась перед глазами долина, падая им в ноги. Громкий топот и храп раздался далеко вокруг. Дертыш легко вышел вперед. Аргымак его далеко позади оставил бегунов, с диким хрипом вытянувшихся в бешеном беге. Красиво, впереди всех, будто выпущенная из лука стрела, летел белоснежный аргымак Дертыша. И напрасно, вытянув шею, раздирали красные ноздри бегуны! Не догнать им белоснежного аргымака! Напрасно били плетью по взмокшим бокам своих жеребцов наездники! Вот уже полпути прошли, а лисья шапка Дертыша всё ещё далеко впереди насмешливо и зло поддразнивает всех, трепеща на ветру кистью.

Давно рвался „Дыюгюрюк ат“ вперед, но Эртечи держал его. Но вот рука его ласково коснулась гривы и жеребец в несколько прыжков оказался под боком Дертыша. Тот покосился на него и усмешка погасла в байских глазах. Он стегнул плетью своего коня, но Эртечи уже выдвинулся вперед.

Вдали тонкими струйками дыма мелькнуло урочище. „Дыюгюрюк ат“, даже ноздри не разодрав в беге, легко и спокойно шёл ухо в ухо с аргымаком Дертыша.

— Это ты собака! — услышал Эртечи хриплый голос бая. — Сдержи жеребца — отару овец возмёшь! ..

Яит вздрогнул, судорожно вцепился в плечо соседа: „Неужели предаст Эртечи жеребца? Неужели на богатство польстится?..“ Пристал Эртечи в стремях и, гневно сверкнув глазами, плюнул в изрытую оспой рожу бая!

— На, получай!.. — перебрал повод в руках, свистнул и нагнулся всем корпусом к шее „Дыюгюрюк ата“...

Птицей рванулся тот. Мелькнул где-то сбоку вздыбленный аргымак Дертыша и вдруг тысячи солнц рассыпались в глазах Эртечи, болью опоясав голову...

Рассыпались и навсегда померкли...

Умолк старик. Страшно гудел топшур, подняв со скамьи Яита своим гневным голосом. Мальчик смотрел на умолкнувшего Эртечи, глаза его яростно сверкали. Вытянул вперёд сжатые кулаки. Готов броситься на подлого врага Яит! Но перед ним была сцена, а на ней сидел с топшуром в руках седой немощный старик...

Еле дослушал Яит прерывистый жаркий шопот о том, как ничего не помня от боли, прискакал Эртечи в урочище, как шумно встретили его, как чьи-то ласковые руки перевязали его глаза и тихий голос сказал юноше сквозь слёзы:

— Прощай, Эртечи... Прощай! Нет для тебя больше солнца — злая плеть завистливого боя изувечила тебя навсегда...

Много прошло дней.
Много лет прошло,
Седыми стали волосы Эртечи.
Много печальных песен
Узнал Эртечи.

Он пел их, пробираясь от ущелья к ущелью,
Пока не услышал другую.
Эту песню на восходе поют,
Это песня — весны пробужденье...

И снова воспрял голос Эртечи. И зазвенел мощно, легко и свободно топшур.

Счастье пришло на Горный Алтай,
Его принесла советская власть.
Не стало в живых Дертыша.
Хоть коня своего не видал Эртечи,
Но вот сегодня он снова услышал
Сладкую музыку бега его,
Топот его копыт...
Это славный поточок его.
Я счастлив, что в мою страну,
Свободную, как птица, могучую, как скала,
Дошёл мой конь в потомке...

Старик умолк. Но долго гудел топшур. И все сидели и слушали песню без слов. Звуки её были гимном новой светлой и радостной жизни. Шумно вздохнув, люди касались руками друг друга, смотрели на красочные стены клуба.

Нет старой жизни. Как хорошо, что кончилась она, проклятая, вместе с горем алтайца — будто говорили эти движения.

Яит вскочил и бросился на сцену. Ребята последовали за своим вожаком. Они окружили Эртечи. Решимостью горело лицо Яита. Он поднял руку и вновь стало тихо в зале:

— Эртечи! — сказал Яит дрогнувшим голосом. — Эртечи! Спасибо тебе, что ты вырастил такого славного коня. Мы обещаем тебе, мы сохраним его кровь. Нам нужно много, много таких коней!.. И я... и мы... — Яит оглядел ребят, встретился со взглядом Янар. Она чуть заметно, одобрительно кивнула ему. — Мы принимаем тебя в свою дружину почётным шефом!

Зал наполнился рукоплесканиями.

— Так, Яит, так! — кивнул Эртечи и обнял Яита.



Томый

А. ДЕМЧЕНКО



На проталинах цвёл кандык. Ребята целый день острыми палками добывали его сладкий корешок. Вечером вернулся с охоты отец Томыя.

— Смотри, кого я тебе принёс, Томый, — сказал отец и вытряхнул из мешка серый пухлый комочек. Томый удивлённо смотрел и не мог понять, что это такое. Когда комочек зашевелился, а потом из лохматой шубки его показалась острая мордочка и злые колючие глаза, мальчик обрадованно воскликнул:

— Волк! Живой волк! — и бросился к зверёнышу. Волчонок бежал от него по избе, прятался под стол, под лавку и щёлкал на Томыя молодыми зубами.

— Куйрук йок! — разочарованно крикнул Томый, поймав непокорного волчонка.

— Да, он кудый, — сказал отец, — но от хорошей сильной матери. Посмотри в сених.

В сених лежала редкой величины волчица.

Скоро всё урочище знало, что у Томыя растёт волк. Томый показывал его ребятам и не мог не видеть, как горели завистью их глаза. А Кюндючи сказала:

— Он совсем некрасивый, бесхвостый. И когда вырастет, загрызёт тебя.

Но что смыслит в таких делах девчёнка? Настоящий охотник, каким непременно будет Томый, знает цену зверю. Кудый будет его другом. Его выкормит сука, и он станет охотничьим цом, у

него острый нюх и сильные ноги. Ничего не смыслит завистливая девчѣнка.

Томый часто снимал с гвоздя двухстволку, оставленную братом, и деловито осматривал её. „Береги ружьѣ пока вернусь, — говорил Синюш, уходя на фронт. — Приеду, новое куплю“.

И чего она понимает, эта заноза, в мужских делах?!

Куцый жил замкнуто, был угрюм. На заигрывание щенят отвечал грубостью. Сука с недовольством подпускала к себе и дивилась странным поведению этого большого уроды.

Не чуждался Куцый одного Томыя. С ним он играл и разрешал что угодно делать с собой. Томый целыми днями возился с ним, придумывал различные игры. Только и Томый заметил, что с каждым днём Куцый становился всё раздражительней и злей. Всё чаще стал отлучаться из дому и больше сторонился собак.

Через три месяца он выглядел совсем взрослым и даже скалил зубы на мать. Никто не слышал чтобы он честно, по-собачьи залаял. Однажды Куцый уселся за оградой на пригорке и долго и жадно внюхивался в дышавший прохладой вечер. Потом он издал какой-то гортанный резкий звук, похожий на отрывистый вой. От этого звука вздыбилась шерсть на спине суки. Чем-то враждебным, звериным повеяло на неё. К середине лета Куцый был статен и высок, с могуче развитой грудью. Клыки блестяли, как охотничьи ножи.

— Надо его посадить на цепь, — сказал отец, — а то он всех собак перегрызѣт в селе.

Блестящий ошейник Куцый возненавидел с первого дня. Он грыз цепь и зло метался у столба. Томый кормил его с рук и жалостливо уговаривал:

— Потерпи, — говорил он. — Вот стану взрослым мужчиной и я тогда отпущу тебя. Потерпи. — Куцый терся спиной о ноги мальчика и тянулся острой мордой в лес.

Пожелтевшие листья рябины трепетно кружились в воздухе, падали на землю. Высоко в небе потянулись крикливые караваны журавлей. Речки громче звенели по ночам, однажды где-то в горах раздался одинокий волчий зов. Куцый вскочил на ноги, задрал морду и впервые завыл сильным грудным голосом. Он выл гневно и зло. Отчаяние и тоска слышались в его голосе. Урочище откликнулось сотнями собачьих глоток. Куцый резко оборвал вой и жадно посмотрел в поредевший лес. Через мгновение оттуда донеслось жалобное тоскующее завывание. Куцый бешено рванулся вперѣд. Цепь звякнула и упала на траву, а сам он с размаху перевернулся через голову, вскочил на ноги и тут только понял, что он свободен. Правда, шею попрежнему стягивал железный обруч, но он больше не держал на месте. Щёлкнув

зубами, Куцый перемахнул через изгородь и широкими прыжками вырвался в долину.

Томый проснулся от странного шума на селе. Собаки рвались с привязей и охрипли от лая. Мальчик прислушался. Куцый не гремел цепью, не рвался. Томый выскользнул из-под шубы и вышел на улицу. У столба лежала порванная цепь.

„Неужели кто увёл? — подумал он, но тут же прогнал эту мысль. — Его не уведёшь — разорвёт, не подпустит“. — Томый подошёл к столбу и поднял цепь. „Порвал. Сам порвал...“ — Горько подумал он, и сердце мальчика сжалось от горя.

— Куцый! — позвал он тихо, не веря ещё, что тот ушёл. — Куцый! Куцый! Иди сюда, это я, Томый...

Мальчик заглянул под крыльцо, под навес, но Куцего не было.

— Куцый! Куцый! — закричал он, что есть силы, — Куцый!

Слёзы душили его и перехватывали горло. Он навалился на ограду и смотрел затуманенными глазами в долину, на высокую гору за рекой, таинственную и пасмурную, и вдруг услышал далёкий, могучий и торжествующий вой. Томый замер.

— До свидания, Куцый! — прошептал он, когда вой эхнул. — Погуляй на воле. А как будет холодно — приходи к Томыю!

* * *

Ждал его Томый каждый вечер. Ночами выходил во двор и подолгу прислушивался к таинственному шороху в лесу, к переливам холодно блестящей реки. Нет Куцего! Позабыл друга. Однажды мальчугану показалось, что кто-то следит за ним. Он огляделся по сторонам и увидел Куцего на огороде. Волк смотрел на Томыя огненными глазами и не уходил. Томый вскрикнул от радости и бросился к нему, но Куцый отпрыгнул в сторону и там снова сел.

— Куцый! Это я, Томый! Иди сюда! — звал мальчик. Но Куцый не подходил. Короткими прыжками он уводил мальчика всё дальше и дальше от села.

Вдруг на дороге загремел колокольчик. Куцый взъерошился, поднял голову, коротко взвыл и бросился к реке широкими, быстрыми скачками. Лошади испуганно рванулись в сторону. Загремела телега по кочкам, слышались голоса:

— Тпрру! Дьявол, тпрру! Растрепят, держи-и!

С телеги соскочил человек в серой шинели, потеряв равновесие, он сунулся на четвереньки и крикнул:

— Пристяжку к ограде держи! Эй!

Что-то знакомое слышалось Томыю в его голосе. Мальчик скользнул в черёмушник и, стараясь быть незамеченным, пошёл к дому. Человек в шинели перелез почему-то через го-

родьбу и пошёл тоже огородом. Видно было, что дорога знакома ему. Томый спустился в канаву и пропустил его вперёд. Военный чуть не бегом пересёк ограду и бросился в избу. И тут только Томый узнал Синюша.

Задыхаясь от радости, кинулся он вслед за братом. В избе было уже темно. Томый с трудом разглядел фигуру брата. Хотел броситься к нему, но во время сдержался „Не женщина ведь я“, — подумал он, степенно шагнул с порога, сухо сказал:

— Здравствуй, Синюш. Это я. Не узнаёшь? Ружьё твоё в порядке.

— Здравствуй, Томый, — обрадованно сказал Синюш. — Да ты совсем большой стал!

Томый довольно улыбнулся.

— Давай пока не будем будить отца и мать. Поговорим, как мужчины.

Теперь улыбнулся Синюш. Зажгли лампу, повесили её на гвоздик, вбитый в косяк. Потом Синюш снял шинель и, одёргивая гимнастёрку, подошёл к Томыю стройный, возмужавший. Звенели медали на груди, сияли перед глазами Томыя ослепительно и гордо. Хотел что-то сказать Томый, как подобает мужчине, но не вытерпел, обнял Синюша и щекой прижался к медалям.

В ограде всхрапывали и тяжело дышали разгоряченные кони. Звякнув, умолк колокольчик.

* * *

С утра в доме гости. Одни сменяют других. Отец, порядочно захмелевший, хватал за плечи каждого и подталкивал к столу:

— Садитесь, садитесь, смотрите на сына. Поговорите. Обрадовал старика. Герой!

Томый щёлкал пальцами по новому блестящему ремню, который очень красиво обтягивал его и важно ходил по избе. Кюндючи тоже пришла, прячась за подолом матери. Только теперь она не смелась и даже не намекнула о неприятном бегстве Куцего.

* * *

Холодные пепельно-белые тучи ползли из-за гор. Гудели вершины лохматых пихт. Кружились, трепетали в воздухе первые снежные пушинки. И стала белей дорога и долина, и серые кусты высохшей полыни торчали сиротливо обнажённые на огородах.

Всё глуше и тише звенела река по ночам, покрываясь блестящей, голубой кольчугой.

Ребятишки бежали из школы, смеясь и радуясь тому, что лицо обжигают снежные кристаллы. Собаки выбегали навстречу и лизали побелевшую землю.

Целую неделю шумела метель над урочищем. Могучие ветры боролись вверху и, сталкиваясь, перемалывали несметные снежные вороха.

А на восьмой день, к вечеру, стремительно друг за другом понеслись растерзанные многодневной борьбой пасмурные тучи и огненные языки заката вырвались на чистом морозном небосклоне.

Рябина под окном трясла оледеневшими гроздьями.

Синюш вышел из дома и, прикрывая ладонью глаза от ослепительного блеска, восхищённо сказал:

— Зима.

Он вытащил из сеней лыжи и прозмотрел ремни.

— Ты не разучился ходить, Синюш?—спросил Томый, втайне гордый былым мастерством брата.

— Финские фашисты очень бы этого желали, чтобы у русских меньше было таких лыжников, как Синюш,—улыбаясь, ответил брат.

— Это хорошо,—облегчённо похвалил Томый.

— Да, это хорошо — ходить против врага, как против ветра,—сказал Синюш.—И ты должен уметь, Томый, управлять лыжами.

Томый умеет управлять лыжами. Понятно, так стремительно скользить по насту, как Синюш, он ещё не научился. Но он непременно научится. Кто из мальчишек первым бесстрашно кидается вниз с самой вершины горы? Он, Томый. Кто, не задумываясь, бросает свои лыжи на самый большой трамплин у реки? Он, Томый. Придёт день и Томый будет топтать пятки Синюшу. Он сделает себе такие же быстроходные лыжи, он убьёт самого резвого козла и прибьёт его шкуру на лыжи. А пока Томый ходит в школу. Многое ещё нужно знать Томю, чтобы стать настоящим мужчиной, как Синюш. И Томый узнает.

„Он смотрит на огромные лыжни, запрокинутые в небо под солнечными лучами, и кажется ему, что это его дорога, по такой солнечной лыжне пойдёт к жизни Томый.

— Хочешь, завтра сходим на капканы?—сказал Синюш.

Конечно, Томья не надо уговаривать, пусть только разбудят его.

* * *

Вечером при огне пришли к ним мужчины. Они долго пыхтели вонючими трубками и перебрасывались редкими, ничего не значащими фразами. Мужчины никогда не говорят сразу о главном.

Лёжа под отцовским тулуном, Томый боролся с дремотой, слушал беседу. Наконец, выбив пепел из трубки и снова набив её табаком, один из гостей сказал:

— Большое счастье в твоей семье, Анчибай, — сын твой вернулся. — Томый знает этого человека. Это председатель колхоза. Отец похлопал Синюша по плечу и, польщённый, воскликнул:

— Обрадовал. Орёл!

Мужчины кивнули головами:

— Орёл!.. И такое дело, с которым пришли мы, орлу и по-сильно.

Отец с братом насторожились. Насторожился и Томый.

— Говорите.

— Тебя не было, Анчибай, — снова заговорил председатель, — а мы тут большое дело решили. План большой наметили. Хотим, как все, чтоб по-человечески. Свет чтобы у нас был. Электрический свет.

У Томыя пропал сон. Он видел, как дрогнула трубка в руке отца, как он, вместо уголька, ткнул в неё пальцем, а председатель продолжал:

— Ну вот и решили мы, чтобы до нового года пакет с решением в райкоме был. Пусть утвердят его и к весне техников вышлют. Давно бы отправить надо — бураны мешали. Теперь время в обрез. Пока район, потом область... Вот и нужен человек, чтобы эти 200 километров побыстрее прошёл. Где такого надежного парня найдёшь, кроме Синюша?...

Томый с горячо бьющимся сердцем смотрел в лицо говорившего. „Свет, электрический свет в урочище! Это когда не надо раздувать уголёк, искать сухую лучинку, чтобы зажечь лампу. Кругом будет светло, как днём... Ах, как бы не опоздали они до нового года! Интересно, знают ли ребята? Слыхала ли Кюндючи? Почему он не научился ходить, как ветер? Тогда бы, может быть, он пошёл хотя бы вместе с Синюшем.. Главное не опоздать бы. А то засмеют люди: „Что вы, скажут, до нового года думали?..“

Томый смежил глаза и представил себе горные перевалы, снежные завьюженные долины, тёмные глубокие балки. Человек стремительно идёт вперёд. Он идёт с важным пакетом, который полетит дальше, до самой области. За спиной в кожаной сумке лежит он. Падают белыми шапками снег с высокого кедра. Резвая белка смотрит из дупла. Блестит свежий наст, будто мелкие бусы горят крупинки снега. Человек спускает впереди себя снежный комочек. Бежит комочек, будто горный ручеек, и трепетной цепочкой ложится за ним следок. По этому следу человек видит, где выемка, где бугорок. Без него всё кажется ровным, лежит белая сверкающая скатерть. Человек смотрит на комочек, наклоняется вперёд и летит с горы. Глаза его и щёки горят. Он спешит, спешит.

— Нарочный, — откуда-то издали слышит глухие слова То-

мый,—нарочный должен быть сильным мужчиной. Быстроногим, как олень, выносливым, как yak... Кто мерил эти козын тропы? Может 200, может больше.

Кто-то кашляет и уверенно говорит:

— Синюш—этот человек. Мы так и решили.

— Да, мы так решили,—подтвердили мужики.—Тебе, Синюш, эта почётная задача.

— Что ж, я согласен,—говорит Синюш.

— Большой документ понесёшь, Синюш, важный.

— Я знаю,—отвечает Синюш,—меня учить не надо.

У Томья переплетается жёлтый огонёк погасившей лампы с картинами сна.

* * *

День выдался солнечный, тёплый. Всё урочище вышло провожать Синюша. Он подвязал лыжи. Томый просмотрел ещё раз ремни, на его ногах.

— Смотри,—сказал Томый,—не порви. Я могу тебе в запас от своих отвязать.

— Есть у меня,—говорит Синюш и голос его взволнован.—Такое ведь большое дело. Путь длинный и опасный.

— Ну, смотри,—говорит Томый,—тебе лучше знать.

Председатель осмотрел последний раз сумку отважного лыжника, где запрятан важный документ.

— Хорошо прилажено.

— В добрый путь, наш посланник. Пусть тебя несут быстрые лыжи к назначенному времени,—сказали старики и женщины.

Синюш поклонился всем и, оттолкнувшись, рванулся к реке. Прямая лыжня легла за ним. Быстрее и быстрее летит он вперёд. Вот и берег. Синюш пригнулся и вместе с лыжами оторвался от земли, повиснув на мгновение в воздухе. Едва его лыжи коснулись наста, как он выпрямился и скользнул по льду. Вдруг снег вздыбился впереди его. Мелькнула выброшенная вперёд лыжа и Синюш, запорошенный снегом, упал на лёд. Народ ахнул, зашумел взволнованно и кинулся вниз.

— Стойте! Куда вы!—раздался звонкий голос. Это кричал Томый. Он встал на свои лыжи, готовый в путь.

— Назад. Идите назад. Я сменю Синюша.

Люди были поражены, а Томый, сдвинув брови, глянул ещё раз на ремни, надел рукавицы и кинулся вперёд по братовой лыжне. Народ расступился перед ним и он пронёсся гордый и дерзкий, как молодой олень. Мелькнула перед ним сурковая шапка Кюндючи. Глаза её горели восхищением. От этого взгля-

да. почему-то, грудь Томья наполнилась ещё большей силой, а ноги стали ещё упруже, ещё устойчивей.

Вихрем промчался Томый по горе, взлетел на трамплине и, огибая открытый лёд, остановился возле лежавшего брата. Синюш с радостью посмотрел на него, растирая вывихнутую ногу.

— Выручай, Томый, — попросил он. — Не опозорь. Разодрало меня на льду, как барана.

— Не беспокойся, Синюш, — сказал Томый, приторачивая сумку за свои плечи. — Ты не виноват. До свидания.

И пошёл Томый легко и быстро в далёкий и опасный путь.

Уже несколько часов плёт юный лыжник по глухим горным перевалам, по дремучим лесам, а ещё далеко до района. Не видно никого и не слышно. Пар валит от Томья, как от котла. Выбившиеся волосы застыли на лбу. Ресницы обледенели, стали тяжёлыми. А Томый всё идёт. Нельзя останавливаться Томью. Важный срочный документ за его плечами. Ещё за его плечами честь их семьи, может быть, даже его слава идёт. По широкой лыжне идёт. И почему-то сквозь порошу, сверкавшую на солнце золотыми блестками, смотрели на него чуть удивлённые глаза Кюндючи.

Уже длиннее становятся тени от гор. Уже потухли снежные огоньки, а конца пути не видно. Кажется Томью, что близко должна быть цель. Вот стоит пересечь эту долину, подняться на гору и он увидит необыкновенной красоты город. В городе не ждут его с пакетом. И вот придёт он, Томый. Совсем ещё мальчишка. Он придёт, снимет со спины кожаную сумку и скажет:

— Кажется, я чуть не опоздал? Пакет нужно срочно передать в область. Здесь план новой жизни.

Он бы может и сам отнёс его, но ему завтра нужно вернуться в школу.

Идёт Томый и горит голова от ребяческих мыслей. И не заметил он, как наступили сумерки, как загорелись холодные, яркие звёзды.

Вдруг какие-то тени метнулись из балки.

— Волки! — испуганно рванулось сердце.

Томый на ходу вытащил нож. Волки обступили со всех сторон. Они идут по его лыжне. Зеленые огоньки волчьих глаз загорелись и справа и слева. Томый слышит горячее звериное дыханье и сжимает сильнее костяную ручку охотничьего ножа. Он знает, стоит ему остановиться, стоит уменьшить шаг, как звери бросятся на него и разорвут в клочки. Они становятся всё нахальнее, всё смелее. Вот один пересёк ему дорогу, а задний наступил на лыжи. Он напряг последние силы, чтобы не отступить, не дрогнуть, не поддаться страху. Видят звери, что

не просто им взять Томья, и тогда передний ложится на дорогу и, урча, как кошка, кладёт свою острую морду на лапы, бьёт хвостом. Томый идёт прямо на него. Извиваясь, волк ползёт от Томья. Ещё минута, ещё мгновение и он налетит прямо на хищника и распорет ему живот. Волк блеснул оскалом клыков. Загорелись глаза его синеватым жадным пламенем. Но справа от Томья раздалось вдруг предостерегающе грозное рычание. Через лыжи его перелетела громадная распластанная тень. Взметнулась снежная метель. Рыча и свирепо щёлкая челюстями свились клубком, откатились с дороги в смертельной схватке разъярённые звери. Поражённый Томый не успел сообразить в чём дело, как один из волков был мёртв. Из разорванной глотки его со свистом и хрипом текла кровь. Победитель встал ему на голову могучими лапами и издал торжествующий победный вой. Помертвевший Томый еле-еле передвигал онемевшие ноги. Поднялась из-за гор луна и осветила долину. Томый взглянул на своего неожиданного спасителя и невольно остановился. В холодном лунном луче вспыхнуло металлическое ожерелье на шее могучего волка.

— Куцый,—прошептал мальчик, не веря своим глазам. Волк посмотрел на него и, как показалось Томью, глаза его сверкали приветливо и лукаво.

— Куцый! Куцый!—крикнул Томый и кинулся к нему. Но сильный удар свалил его с ног. Не заметил Томый, забыл осторожность и подкравшийся зверь бросился на него сзади. У самого лица его щёлкнули страшные челюсти. Томый взмахнул ножом и ударил им в живот волка. Тот взвыл от смертельной раны и рухнул замертво на Томья. Задыхаясь от тяжести мёртвого тела Томый почувствовал, как новый волк ухватил его полущубок и разорвал надвое.

Над самым ухом яростно зарычал ещё один. Томый, втоптан- ный в снег, отчаянно размахивал ножом над головой. Вот рука его коснулась лохматой шкуры и он запускает нож по самую рукоятку в хрустнувшее тело врага. Волк рвнулся вперёд, но, истекая кровью, тихо, по-собачьи взвизгнул. Настала тишина. Томый поднял голову. Рядом с ним лежал с вырванным горлом худой и, наверное, старый волк. В зубах его торчали клочья полущубка, а поодаль, издрагивая от страшной раны, нанесенной рукой Томья, умирал Куцый. Тоской и упрёком горели глаза смертельно раненого друга. Печально и холодно сверкал ошейник. Вскочил Томый, кинулся к другу. В горле запеклось от горя. Закричал он, схватился за голову и... открыл глаза. Перед ним стоял улыбающийся Синюш.

— Ты что-то кричал, Томый, махал руками,—сказал он.—Я выручил тебя от плохого сна. Вставай. Пора.

— Томый отбросил тяжёлую шубу и долго смотрел на брата, взволнованно и тяжело дыша.

— Вставай. Уже рассвет. — сказал Синюш.

Вскочив на ноги, обрадованный Томый засмеялся.

— Значит жив Куцый? Зря это я?

Синюш удивленно посмотрел на него.

— Я тебе всё расскажу. А может мы даже и встретим его. — сказал Томый, быстро одеваясь.

В окно пробивался рассвет.



М. ДЛУГОВСКОЙ

ЗИМА



Сковала реки бурные Алтая,
В меха песцовые укутала дома,
Чудесная, лебяжья, пуховая
Морозная алтайская зима.

Над речкою задумчиво берёзы
Стоят в наряде нежном кружевном.
По большаку колхозные обозы
Идут гружёные зерном.

Бесследно тает в голубом пространстве
Из труб ползущий синеватый дым.
Сняв пёстрое осеннее убранство,
Колхозный сад стал тихим и седым.

На солнце самоцветами сверкая,
Снежинки медленно ложатся на дома.
Где есть ещё чудесная такая,
Как здесь у нас, в крутых горах Алтая,
Седая, несравненная зима.

УТРО В ГОРАХ

Бегут по склонам гор Алтая
Потоки радужных лучей,
Червоным золотом сверкая,
В косматых лапах кедрачей.

К реке алтайка молодая
Снежит на резвом скакуне.
Трепещет плетью на спине
Коса смолистая, тугая.

В горах Алтая воздух чист,
Горит огнём восход чудесный,
О новой жизни топшурит
Слагает радостные песни.

ПЕСНЯ ОБ АЛТАЕ

Улетай, моя песнь молодая,
Расскажи про богатый наш край,
От счастливых народов Алтая
Радость нашу вождю передай.

Величавы Алтайские горы,
Плодородны родные края,
Улыбается ласковым взором
Озарённая солнцем земля.

Нет в аилах жестокого бзя,
В дымях юртах не стонет нужда,
По колхозным просторам Алтая,
По долинам пасутся стада.

Много рек и озёр на Алтае,
Золотые лежат рудинки,
Словно яркие звёзды, сверкают,
Покорённые нами белки.

По стремительным кручам Алтая,
Где шумит ключевая вода,
Лейся, песня моя молодая,
Песня нашей борьбы и труда.



ГЕИМ ОН АЛТАЕ

АЛТАЙ

И. САБАШКИН



С тобой проводший жизнь свою,
Тебе сегодня я пою:
—Ты-колыбель отцов моих,
Ты видел муки, рабство их.
И в хмурой, пасмурной тиши
Леса шумели у вершин.
Лишь реки извивались вольно,
Но были злы и мрачны волны.
Детей вскормив в несчастьях мать,
Где будет счастье им искать?
Любимый край был полонён,
Как богатырь, был скован он .
Я на тебя взгляну сейчас—
Долина радует мой глаз! .
Воспрял могучий исполин,
Горит на солнце снег вершин,
Пасутся тучные стада,
Растут колхозные хлеба .
Я слышу детский смех вокруг,
Взовьётся птицей песня вдруг,
На лицах нет былой тоски —

Шагают бодро старики—
Могучим вырос человек.
Счастливым, вольным стал во век.
Вон стадо дремлет на просторе,
Бежит ручей, искрясь, со взгорья,
Вчера родившийся ягнёнок
Уж мчится он (крепки ли ноги!).
С тобой проведший жизнь свою,
Тебе сегодня я пою:
В цветы одетый, мой Алтай!
Расти и счастьем пылай!
Пусть станет глубже и полней,
То счастье для моих детей!





(Из алтайской старины)

Мокинский приказчик, Мишка Чалый, сидел в просторной горнице хозяина и, зажав бородёнку в кулак, почтительно слушал знаменитого миллионщика.

— Я тебе, Михайло, одно скажу: обмануть калмыка не грех. Потому — не крещёный Души у него нет, — расхаживая по горнице, говорил Мокин. — веры не имеет.

— Точно — поддакнул Мишка, — калмык есть существо лесное. Кроме мяса ничего не ест.

— Ну, так вот, слушай, — хозяин подошёл к приказчику вплотную. — Не доезжая Бешпельтира, внизу перелома, живёт алтаец Такыс. Есть у него коровы, ну, там овцы и кони. Должен он мне по векселю сто сорок рублей. Хотел я сначала этот вексель опротестовать, но думаю иначе сделать. Завтра поезжай к нему. Захвати с собой моё тавро. Растолкуй этому самому калмыку, что, мол, хозяин решил подождать уплату, он, дескать, верит тебе и желает всякого добра. — Мокин не удержался от улыбки. — Ещё скажи, что недавно приезжал становой и говорил: надо описать скот у Такыса. Хозяин, мол, едва упросил. Припугни как следует. Так и скажи: если ты, калмыцкая душа, хочешь жить на свете, ставь мокинское тавро на свой скот. А то отберут, а те-

бя отправят в бийский острог. — Добавил: — Когда поедешь, захвати с собой водки...

Мишка хлопнул себя по колену.

— Умственно, Евсей Петрович.

— Ладно, не мели хвостом. Сам знаю, — оборвал хозяин.

Мишка выехал с заимки не рано. Обогнув каменное седёлко, он проехал Яконур и стал приближаться к перевалу. У подножья горы, в широкой долине, ютилось несколько алтайских айлов. Подъехав к одному из них, Чалый слез с коня и вошёл в жилище.

— Эзен!

От окока поднялся пожилой алтаец.

— А, Михайло, друг. Эзен, эзен, садись! — засуетился он. — Как Евсей живёт? — спросил Такыс про Мокина.

— Велел тебе кланяться.

— Ладно, ладно, — хлопнув в ладоши, он крикнул из женскую половину. — Ярмаш, принеси мяса, араки, курут.

— Насчёт араки не заботься. Евсей Петрович водки тебе в гостинцы послал, — вынимая бутылку, проговорил Чалый.

— Вот хорошо-то, — Такыс даже зажмурил глаза, — Евсей-то Петрович шибко хороший человек.

— Золотой, — поддакнул Мишка.

Бутылка была выпита. Полупьяный Такыс, обнимая Воропаева, разглагольствовал:

— Мокин-то большой мне друг. Деньги давал, гербовый бумага писал.

— Вот на счёт этой самой гербовой бумажки я и приехал, — сказал важно Мишка. — Становой пристав на днях был. Про тебя спрашивал.

Такыс мигом отрезвел.

— Что спрашивал? — спросил он тревожно.

— А заплатил или нет Такыс деньги. Если не заплатил — скот отберу, а самого в бийский острог отправлю.

— Правду говоришь? — Такыс поднялся на ноги.

— Да ты сиди, — потянул его за шубу Мишка. — Евсей-то Петрович уговорил станowego, а тебе велел сказать, чтобы на всякий случай заклеил скот его тавром — тамгой. Если приедут, с тебя взять нечего. Скот ты продал Мокину — смотрите, дескать, тавро.

Такыс повесил голову.

— Ты не сомневайся. Евсей Петрович тебе добра желает. Недаром меня послал.

— Ладно, — сказал решительно Такыс, — завтра кладём тамгу на весь скот.

— Ну вот и добро!—хлопнул его по плечу Чалый.—Теперь тащи араки.

Через час пьяный Такыс, обнимая Мишку, пел:

Хороший друг есть у Такыса,
Живёт он в большом доме
Со светлыми, как день, окнами...

Мишка тихонько освободился от объятий хозяина и вышел из аила.

— Дело сделано.—Пробормотал он про себя, ухмыляясь, и стал треножить коня.

На следующий день Мишка заклеил весь скот Такыса тавром Мокина.

Прошло месяца два. Сам Евсей Петрович пожаловал к Такысу в гости.

— Платить по векселю надо, Такыс,—сказал он угрюмо.—до-куда буду ждать?

— Вот беда-то,—забеспокоился Такыс,—денег нет.

— Гони лошадей в Шебалино. Скоро там ярмарка.

Хозяин согласился.

Через неделю, захватив с собой пастушонка Бактубая, Такыс погнал лошадей в Шебалино. В тот же день, только другой дорогой, с мокинской заимки выехал верхом Мишка. Перед отъездом Евсей Петрович наставлял его:

— Немедля явись к шебалинскому уряднику и заяви, что мол, из мокинского табуна потерялись кони. Подозрение, дескать, хозяин имеет на калмыка Такысу. Лошади мечены.

На третьи сутки, когда был поднят флаг ярмарки, Мишка вместе с урядником обходили конный базар.

— Видишь сидит калмык? Эго и есть Такыса. Кони мокинские, смотри тавро.

Урядник поправил португеею шашки и пошёл к Такысу, не подозревавшему беды.

—Чей, откуда?

— Из Усть-Кана. Кочую за Бешцельтиром,—ответил испуганный Такыс.

— Кони чьи?

— Мои.

— А тавро?

Такыс поскрёб затылок.

— Чьё тавро?—наступал урядник.

— Моё.

— Врёшь! Клеймо мокинское. Кони у тебя ворованные.

Такыса посадили в шебалинскую каталажку. Через три недели он пришёл домой пешком. Ярмаш плакала.

— Был Мишка, угнал весь скот в Усть-Кан. Говорил, что коровы и лошади мокинские, его тамга.

Такыс молчал. Нельзя же в присутствии женщины выдать своё горе. Положив за пазуху черствый кусок сыра, он направился к Мокину.

Евсей Петрович сидел в гостинице со своим неизменным приказчиком.

— Что тебе?—увидев Такыса, грубо спросил он.

— Евсей Петрович, друг,—протягивая ему руку, заговорил Такыс.

— Какой я тебе друг? Твои друзья в бийском остроге сидят. Тебя давно дожидаются.

— Друг,—из глаз Такыса скатилась слеза. — Отдай мой скот. Жить чем буду?

Бедняга встал на колени и пополз к Мокину, припал к его сапогу:

— Чем буду кормить Ярмаш, Малайку!

Евсей Петрович крикнул, погладил бороду:

— Михайло, выдай ему корову и лошадь без тавро. Пусть ай едет. Вексель за ним...

— Мой скот?—глаза Такыса уставились на купца.

— Скажи спасибо, что в острог тебя не посадили,—сказал спокойно Мокин и отвернулся к окну.



И УЛАГШЕВ

ИГРАЙ, ИГРАЙ. МОЙ ТОПШУР



Из корня могучего кедра не зря
Тебя сделали, громкий топшур!
В день радости, в день Октября
Заиграй, мой певучий топшур!

Из крепкого дерева, что на скалах растёт,
Тебя сделали, звучный топшур!
Народ мой ликует, народ мой поёт,
Так весело ной же и ты, мой топшур!

* *

Шуба рваная на работе, во сне
Мне не грела худые плечи.
Бай, как коршун, сидел на спине,
Жизнь мою терзая и калеча.

Разле зайца увидишь в пазухах скал,
Скал могучих, снегом одетых?
Радостных песен молодым я не знал..
Много песен осталось не спетых.

Если о прошлом подумать моём —
Кроме стога не вспомнишь ни слова.

Давай же, топшур мой, сегодня споём
Песнь Октябрьскую жизни новой!

*
* *

Солнце красное светит в горах
Ярче прежнего тёплым сиянием.
Молодёжь получила счастливый размах
В величайшем труде созиданья.

Кровель наших кривой покос,
Горе тяжкое, — всё в забвеньи.
Дружный труд нам богатство принёс
В колхозном своём единеньи.

Вырос наш малочисленный скот.
Табуны — точно реки в разливе.
И страдавший когда-то народ.
Зажил жизнью богатой, счастливой.

Бороздя высокого неба дно,
Быстро птицы стальные летают.
А по новым деревням давно
Конь стальной, словно вихрь, пробегает.

Мысли наших детей лишь одним полны:
Чтобы знания ученьем добыть.
Старики не хотят замечать седины
И хотят молодыми и юными быть.

*
* *

Из корня могучего кедра не зря
Тебя сделали, звучный топшур!
В день счастья, в день Октября
Играй же, играй, мой звонкий топшур!



Н. УЛАГАШЕВ

СЫНАРУ



Было это давно-давно, когда люди, ныне в народе старейшие, ещё не родились, когда берёзы, ныне в лесу высочайшие, ещё из земли не проклюнулись.

Жил на Алтае Анчи со старухой. Имели они двух лошадей и корову, по паре овец и коз. Три сына было у стариков, имена сыновей неизвестны. Была у них дочь мила и красива, звали её Сынару.

Ездил старый Анчи по горам и долинам, охотился, много зверей и птиц добывал, тем свою семью кормил. Старая мать не сидела дома: ходила она в аилы к баям, мяла овчины, шубы шила богатым, мехом и вышивкой их украшала. Была старушка большой мастерицей, трудом своим старику помогала семью кормить.

Когда сыновья подросли, стал их брать старик с собой на охоту, учил их метко стрелять, следы звериные распознавать. Словом, искусству охоты их научил. Старушка дочь свою обучала из шкурок меха выделявать, из мехов красивые шубы шить, узорной вышивкой и оторочкой украшать. Дочь свою мастерицей сделала, чтобы имя красивое Сынару люди злословьем не опозорили, чтобы неумехой девушку не прозвали.

Выросли дети у стариков: три сына — славных охотника и дочь Сынару — мастерица, её рукоделью люди дивились, на красоту её любовались. Старый Анчи со старухой, на детей глядя, гордились и радовались. Отец непрочь был среди народа ловкостью и

силой своих сыновей похвастать, красотой и искусством дочери похвалиться. Все завидовали старикам, хвалили их сыновей и дочь.

Но стрый Анчи со старухой успели цветами лишь полюбоваться, а спелой ягоды, ими выращенной, не отведали. Старость их желанья опередила, смерть счастье их прервала. Первым в могилу старик сошёл, за ним, убитая горем, жена последовала. Сыновья и маленькая Сынару смерть родителей горько оплакивали, горевали: как теперь им, сиротам, жить, кто их доброму делу наставит?..

Похоронили отца и мать, вчетвером в аиле своём зажили.

Братья ездили на охоту, их добычи богатой всем четверым на еду и одежду хватало, да было чем и калана зайсану уплатить, демичи жадного одарить.

Сынару аил стерегла, рукодельничала, в её руке игла непрестанно сверкала. Свой пай в семью Сынару приносила, братьям во всём помогала.

Дружно братья с сестрою жили. Если трудно где одному—все на помощь придут, если один заскучал—все его веселят.

Так и жили они. Стали стада их быстро плодиться, в аиле богатство множиться. У трёх братьев по три шубы заведено. Став богатыми, братья стали добычу между собой делить, каждый стал для себя охотиться, сам пушнину свою продавать. Дружбу они завели с купцами; скупая пушнину у бедных охотников с выгодой перепродавали. Разбогатели три брата.

Невест себе братья облюбовали: трёх красавиц с богатым приданым, девиц ленивых и бестолковых. Богатство и красота невест братьев прельстили, на неумехах все трое женились. Устроили свадебный той. На тое гостями были все богатые. Чёрное озеро вина было выпито, горы варёного мяса съедены. Во хмелю сварливые гости переругались, драчливые кулаки друг на друге испробовали. Собаки кости глотать устали, от мяса так разжирели, что на ногах не стояли, лёжа ползали. Вот какой той был!..

С тоя все гости разъехались, все собаки разбрелись. Братья с жёнами молодыми в своих новых аилах зажили.

В старом отцовском аиле Сынару осталась одна. После шумного тоя братья три дня отдыхали, с жёнами молодыми тешились. На четвёртый день на охоту уехали.

Три молодые жены в своих аилах, руки сложа, сидят. Одна Сынару старается за всех троих всё делать: коров подоит, телят пососит, снохам вкусный обед приготовит, в аилах всё приберёт, пылинки нигде не увидишь. Такая уж девушка Сынару, без дела сидеть не любит. С ласковыми словами за снохами-бездельницами ухаживает.

Братья с охоты вернулись, много они лисиц пышнохвостых, выдр серебристых и соболей пушистых в суминах своих привезли. Не хвастаясь богатой добычей, не жалуясь на усталость, братья с коней сошли. Жёны их молодые из айлов не показались, мужей не встретили. Одна Сынару из айла выпорхнула, радостно братьев встретила, повод у каждого приняла, сумины с добычей в айлы внесла.

Пищей вкусной Сынару угощает братьев, о новостях расспрашивает.

Три брата после жирной еды на мягких постелях выспались, жён молодых подзывают. Меха выдр им отдают, шубы велют сшить, красивые шубы, шёлком простроченные, большими пуговицами украшенные. А жёны-неумехи отмахиваются, отфыркиваются:

— Мы из простых овчин шубы не шивали, а из мехов драгоценных совсем не сумеем. Да и не наше дело шубы строчить...

Сидят красавицы бестолковые, как пни обгорелые, перед мужьями, безглаголю мехов от себя отбрасывают. Братья на жён разгневались, но сердца их от красоты женской размякли, шить шубы жён не заставляют. Меха отнесли в аил Сынару-мастерице, чтоб она, между делом, сшила братьям шубы богатые. Сынару, не сказав „не умею“, не отговариваясь, что нет времени, за работу взялась. Быстро меха выделала, красивые шубы шьёт. Так с этих пор и повелось: приедут братья с охоты, шкуры зверей сестре отдают, она из мехов одежды разные шьёт. Хвалят братья золотые руки сестры, жён молодых за безделье корят, красавиц зовут неумехами.

Стало обидно это чванливым красавицам, злость на золовку в сердцах их копится, всё больше они Сынару ненавидят. Когда братья в тайгу уезжают, снохи до полусмерти девушку избивают. Поплачет она тихонько, обиду и боль перетерпит, братьям на снох не жалуется. Горькая жизнь у бедняжки, — а всё от того, что она мастерица.

Однажды, когда на охоту братья уехали, снохи убить Сынару решили, только ума у них нехватает, как извести половчее золовку. Голову ей отрубить — не успеет даже помучиться, сонную её придушить — смерть уж очень легка. А снохам хочется предсмертными муками Сынару насладиться.

Стояли возле айла Сынару четыре стройных берёзы. После побоев жестоких Сынару приходила к этим берёзкам поплакать.

Никто, кроме белых берёз, слёз её горьких не видел, горя её не знал.

Когда закатилось солнце за синие горы, когда стада разлеглись в долине, а жители всех соседних урочищ уснули, снохи — три змеи — на Сынару накинулись. Избили её до полусмерти

и чуть живую к четырём берёзам приволокли. К вершинам берёз Сынару привязали её четырьмя шёлковыми косами так, что в воздухе Сынару повисла. В лицо ей злые снохи плевали, досыта наиздевались и спать пошли.

Слёзы льёт Сынару, ветер её над землей качает, голова от боли, как сухая сосна от жары, вот-вот растрескается.

На счастье её братья с охоты быстро вернулись. К аплам братья подъехали, спешились, никто их встретить не вышел. Пришлось самим коней расседлывать, сумины с добычей в аил нести.

Жёны весело их встречают, притворно ласково с ними заговаривают.

Братья в аил Сынару заглянули, сестры не увидели. забеспокоились.

Старший брат жене говорит:

— Когда с охоты мы возвращались, всегда Сынару нас встречала, коней расседлать помогала, добычу в аилы вносила, жирной пищей нас угощала. Сейчас мы словно к мёртвым аилам подъехали, никто нас не встретил. Куда Сынару девалась?

Жена старшего брата усмехнулась ехидно, ответила:

— Откуда мне знать? Весь день Сынару проплакала, вас укоряла, что замуж её выдавать не хотите... Не убежала ли мужа себе искать, к чулмусу свататься не ушла ли, — откуда мне знать? ..

Братья сказанному подивились, стало им грустно, милую Сынару им жаль.

Старший брат из аила вышел, возле дверей уселся, тоскливо запел:

Чёрную, шёлком крытую, шубу мне
Кто теперь сошьёт, Сынару?
На вороном моём иноходце-коне
Кто будет ездить теперь, Сынару?..

Красную, шёлком крытую шубу мне
Кто теперь сошьёт, Сынару?
На красно-рыжем моём коне
Кто будет ездить теперь, Сынару?..

Куда удалилась ты от аила,
Зачем покинула братьев?..
Если завёлся на сердце милый,
Зачем ты скрыла от братьев?..

Разве я стал бы держать тебя,
Если милый есть человек?
Разве сказал я, что не любя,
Ты проживёшь свой век?..

Какая обида теснит тебе грудь,
Ой, Сынару, Сынару!
Смягчи своё сердце и зло забудь,
Ой, Сынару, Сынару!..

Бедная Сынару, голос старшего брата услышав, в ответ запела:

За аилом моим стоят
Четыре берёзки, брат.
Брось на четыре берёзы взгляд,
Косами привязана к ним я, брат.

Замуж итти не хотела я,
Меня оболгали снохи.
Никого не искала себе в мужья,
Меня измучили снохи.

Ой, брат, мой любимый брат,
Словом несчастной поверь,
Уже близка моя смерть,
Спаси сестру свою, брат...

Старший брат, слова и рыдания Сынару услышав, ушам не поверил, сказал:

— Видно, душа бедной сестры её голосом слух мой терзает!

Выхватил он из ножен нож, правое ухо себе отрезал и в аиле своём скрылся. Средний брат из аила вышел, тоски его запел:

Молодая берёза весной опять
Зазеленеет своей листвою.
Молодые уходя в луга гулять,
Но приходят ночью домой.

Разве я тебя разлучал
С наречённым твоим, сестра?
Разве я тебя поучал
Не замужнюю жить, сестра?..
Что ж обиделась ты на нас,
Ой, Сынару, Сынару?..
Что ж не кажешь ты братьям глаз,
Ой, Сынару, Сынару?..

Голос среднего брата услышав, Сынару, слезами сбливаясь, снова запела:

За аилом моим стоят
Молодые берёзы, брат.
Ты на них обрати свой взгляд,
К ним меня привязали, брат.

Не хотела другого себе я житья,
Лгут бесстыдные снохи.
Не искала себе никого я в мужья,
Лгут лукавые снохи.

Много горьких я слёз пролила,
Вы не видели слёз моих, братья.
Сколько я принимала зла,—
Вам не жаловалась, братья.

Ой, мой средний любимый брат,
Сил моих нехватает.
Ой, скорей спаси меня, брат,
Я, как снежинка, таю ..

Средний брат, голос сестры услышав, отилёвывается:

— Видно, чулмус голосом Сынару меня донимает!—Средний брат правое ухо себе отрезал, в аиле своём скрылся.

Вышел младший брат—близнец Сынару, грустный долго стоял, нежно запел:

Тепло одного материнского чрева
Нас с тобою, сестрица, грело.
Сладость груди материнской одной
Ты делила, сестра, со мной.

Зачем же ты, Сынару, сейчас
Юность свою унесла от нас?
Любовь свою и свиданье с милым
Зачем от меня, Сынару, таила?

Вернись скорее, сестра, домой,
Будем есть из чашки одной.
Вернись скорей, Сынару, вернись,
Новую вместе устроим жизнь.

Ой, Сынару, Сынару,
Где я тебя найду?
Ой, Сынару, Сынару,
Домой я тебя жду!

Так младший брат пропел и горько заплакал. Последние силы собрав, младшему брату в ответ Сынару запела:

Стоят за аилом четыре берёзы,
На них погляди, мой брат.
Привязаны к ним мои чёрные косы,
Взгляни на меня, мой брат.

Замуж итти мне пора не настала —
О женихе я, брат, не страдала;
Тайно от вас никого не любя,
Не опозорила я себя.

К белым берёзам я приходила,
Не с женихом повидаться милым,
Горе своё приносила к берёзам,
Горькие здесь проливала слёзы.

Ой, мои косы, чёрны, густы,
Лучше бы им не расти!..
Ой, мой брат, неужели и ты
Не хочешь меня спасти? .

Младший брат, голос сестры услышав, ушам своим не поверил, тоже оплёвывается:

— Голосом бедной сестры злые духи меня терзают!

Младший брат нож обнажил, правое ухо себе отхватил и снова прислушивается.

Бедная Сынару петь продолжала:

Когда до волка вой долетает,
Он мчится скорей на звук,
Чтоб отыскать свою волчью стаю,
Всё обнюхивает вокруг.

Голос мой слыша, два старших брата
Ушли в аилы свои обратно.
Рождённый со мной в одночасье, брат,
Ужели и ты не вернёшься назад?

Ужели и ты, проливавший слёзы,
Не подойдёшь к четырём берёзам?
Моим словам и слезам не веря,
Скроишь совесть свою за дверью?

У младшего брата сердце заныло, он за аилы кинулся, Сынару увидел. Четырьмя косами к вершинам берёз привязанная, девушка над землей покачивается. Младший брат, острый нож обнажив, одним ударом косы сестры перерезал, унёс её на руках в аил. Старшие братья с жёнами тотчас явились. Снохи бедной девушке слова сказать не дают, наперебой кричат:

— Каково за женихами-то бегать, скажи?..

— Попала в беду, так лучше помалкивай, не вздумай на нас вину свою свалить!..

Жена старшего брата кричит:

— Два дня подряд негодница, плакала, всё кричала, что жених у неё есть, замуж хочется выйти!..

Жена среднего брата кричит:

— Братьев своих ругала, что замуж не выдают!..

Такой шум снохи подняли, что если бкто из ружья выстрелил, никто бы выстрела не услышал. Три брата рта раскрыть не могут, да и тридцать братьев трёх баб горластых не перекричали бы!..

Братья жёнам своим поверили, Сынару жестоко избили, по своим аилам разошлись. На сырой земле Сынару, слезами обливаясь, лежала.

На тёплых постелях с красивыми жёнами сладко выпавшись, братья утром жирно покушали, в тайгу на охоту уехали.

Жёны их, злые дочери богачей, извести Сынару снова готовятся. Думали, думали, какой смерти золовку предать, и так порешили: живой Сынару в землю зарыть.

Пока Сынару коров доила, пищу готовила, снохи возле её аила яму в девять аршин глубиной вырыли, девять бычьих шкур заквасили.

Перед приездом мужей три снохи-волчицы бедную Сынару схватили, до полусмерти её избили и в яму девятиаршинную сбросили, девятью бычьими шкурами завалили, сверху землёй засыпали.

Через три дня братья с охоты вернулись, большие сумины их туго добычей набиты. Никто у аилов братьев не встретил, поводыев не принял, с добычею не поздравил. „Будто вымерли все“, — так братья подумали. Заходят в свои аилы, а жёны их, как мёртвые, спят.

Три дня в очагах огонь не горел, в аркытах чегень перекислена через края льётся. Три дня недоенные коровы мычат, голодные телята арканы жуют.

Братья еле жён добудились, спрашивают:

— Почему среди белого дня спите, почему коровы три дня не доены? Куда девалась опять Сынару?

Жёны их на постелях потягиваются, охают, будто от усталости кости разминают. Каждая мужу своему рассказывает: Сынару три дня и три ночи покоя им не давала, всё плакала да причитала, что-де милый у ней есть, что замуж охота. Была, была девка, на третий день куда-то сбежала. А бедные жёны совсем уморились с золовкой, и первый раз за три дня им вздремнуть удалось...

Так жёны трём братьям рассказывали, на Сынару наговаривали. .

Братья ласково жён пожурили, сами себе приготовили пищу.

А вот коров доить некому — тут и Сынару вспомнить. Старший брат из аила вышел, у дверей уселся, запел:

Там, где трав зеленеет шёлк,
Нежный, тонкий расцвёл цветок.
Близко я к нему подошёл,
Пожалел и сорвать не смог...

С детских лет ты со мной, сестра,
Подрастала, как тот цветок,
Радость жизни твоей, сестра,
Я бы отнять у тебя не смог...

Братски нежно любя, Сынару,
Потерял я тебя, Сынару,
Нет покоя мне, жизнь горька, —
Сердце жжёт по тебе тоска.

Где ты, брату скажи, Сынару,
И лицо своё покажи, Сынару,
Сердце брата ты успокой, Сынару,
Поскорее вернись домой, Сынару!..

Землёю придавленный голосок Сынару глухо прозвучал:

У моего аила,
Мой старший брат,
Вырыта мне могила,
Найди её, брат!

Бычьи шкуры покровом
Меня придавили, брат,
Не будь же ко мне суровым,
Откинь их скорее, брат!

Лишили белого света
Злые снохи меня,
В душевной могиле этой
Не проживу я дня...

Если услышал ты голос мой,
Старший любимый брат,
Спаси из могилы меня сырой,
Старший любимый брат!...

Умоляющий голосок Сынару услышав, старший брат ушам не поверил, отплёвывался:

— Голос сестры мне уши пронзил, видно злой дух надо мною тешится!..

— Два дня подряд негодница, плакала, всё кричала, что жених у неё есть, замуж хочется выйти!..

Жена среднего брата кричит:

— Братьев своих ругала, что замуж не выдают!..

Такой шум снохи подняли, что если б кто из ружья выстрелил, никто бы выстрела не услышал. Три брата рта раскрыть не могут, да и тридцать братьев трёх баб горластых не перекричали бы!..

Братья жёнам своим поверили, Сынару жестоко избили, по своим аилам разошлись. На сырой земле Сынару, слезами обливаясь, лежала.

На тёплых постелях с красивыми жёнами сладко выпавшись, братья утром жирно покушали, в тайгу на охоту уехали.

Жёны их, злые дочери богачей, извести Сынару снова готовятся. Думали, думали, какой смерти золовку предать, и так порешили: живой Сынару в землю зарыть.

Пока Сынару коров доила, пищу готовила, сн охи возле её аила яму в девять аршин глубиной вырыли, девять бычьих шкур заквасили.

Перед приездом мужей три снохи-волчицы бедную Сынару схватили, до полусмерти её избили и в яму девятиаршинную сбросили, девятью бычьими шкурами завалили, сверху землёй засыпали.

Через три дня братья с охоты вернулись, большие сумины их туго добычей набиты. Никто у аилов братьев не встретил, поводыев не принял, с добычею не поздравил. „Будто вымерли все“, — так братья подумали. Заходят в свои аилы, а жёны их, как мёртвые, спят.

Три дня в очагах огонь не горел, в аркытах чегень перекиспена через края льётся. Три дня недоенные коровы мычат, голодные телята арканы жуют.

Братья еле жён добудились, спрашивают:

— Почему среди белого дня спите, почему коровы три дня не доены? Куда девались опять Сынару?

Жёны их на постелях потягиваются, охают, будто от усталости кости разминают. Каждая мужу своему рассказывает: Сынару три дня и три ночи покоя им не давала, всё плакала да причитала, что-де милый у ней есть, что замуж охота. Была, была девка, на третий день куда-то сбежала. А бедные жёны совсем утомились с золовкой, и первый раз за три дня им вздремнуть удалось...

Так жёны трём братьям рассказывали, на Сынару наговаривали.

Братья ласково жён пожурили, сами себе приготовили пищу.

А вот коров доить некому — тут и Сынару вспомнили. Старший брат из аила вышел, у дверей уселся, запел:

Там, где трав зеленеет шёлк,
Нежный, тонкий расцвёл цветок.
Близко я к нему подошёл,
Пожалел и сорвать не смог...

С детских лет ты со мной, сестра,
Подрастала, как тот цветок,
Радость жизни твоей, сестра.
Я бы отнять у тебя не смог...

Братски нежно любя, Сынару,
Потерял я тебя, Сынару,
Нет покоя мне, жизнь горька, —
Сердце жжёт по тебе тоска.

Где ты, брату скажи, Сынару,
И лицо своё покажи, Сынару,
Сердце брата ты успокой, Сынару,
Поскорее вернись домой, Сынару!..

Землёю придавленный голосок Сынару глухо прозвучал:

У моего аила,
Мой старший брат,
Вырыта мне могила,
Найди её, брат!

Бычьи шкуры покровом
Меня придавили, брат,
Не будь же ко мне суровым,
Откинь их скорее, брат!

Лишили белого света
Злые снохи меня,
В душной могиле этой
Не проживу я дня..

Если услышал ты голос мой,
Старший любимый брат,
Спаси из могилы меня сырой,
Старший любимый брат!...

Умоляющий голосок Сынару услышав, старший брат ушам не поверил, отплёвывался:

— Голос сестры мне уши пронзил, видно злой дух надо мною тешится!..

Нож обнажил старший брат, левое ухо себе отрезал и в аиле своём скрылся

Вышел средний брат из аила и так запел:

Зачем из озера воду пить,
Когда вода ключевая есть?
Зачем в одиночестве слёзы лить,
Когда любящие братья есть?

Если ты полюбила, сестра, —
Не встал бы я на пути.
Если ты с милым ушла, сестра,
Где мне тебя найти?..

Если ты друга искать ушла,
Где он — брату скажи.
Если ты мужа себе нашла,
Кто он — брату скажи...

Голос среднего брата услышав, со дна ямы девятиаршинной в ответ Сынару запела:

Милого я себе не ищу,
Измучили злые снохи.
Ни с кем чужим я жить не хочу —
Меня прогоняют снохи...

Возле дверей моего аила
Вырыта мне сырая могила.
Девять шкур мне служат покровом —
Слышишь ли, братец, моё ты слово?..

Или тебе изменяет слух,
Иль к моим ты рыданиям глух?
Скорее спаси — умираю, брат,
Скорей выручай — умоляю, брат!..

Средний брат, несколько слов Сынару расслышав, ничего не понял, левое ухо своё ножом отхватил, в аил убежал.

Младший брат, от тоски угрюмый, выходит, грустно поёт:

Отец, умирая, сказал: „Когда
К вам, мои дети придёт нужда,
Друг друга не забывайте!“
Мать, умирая, сказала: „Когда
На вас, мои дети, падёт беда,
Друг друга не покидайте!“
Если бы отцовы забыл слова —
Была бы душа у меня черства.

Разве в груди моей сердца нет,
Чтоб материнский забыть завет?
А ты, Сынару, забыла, видать,
Что говорили отец и мать!..
Любовь свою от братьев тайла
Грустишь вдали от родных аилов.
Ой, Сынару, Сынару!..
Если ты друга искать ушла,
Где ты—братьям скажи.
Если ты мужа себе нашла,
Кто он—братьям своим скажи!..

Последние силы собрав, бедная Сынару младшему брату в ответ запела:

Голос мой слышали старшие братья—
Из-под земли.

Сколь ни старалась их умолять я —
Оба ушли...

Возле аила я, брат, зарыта,
Шкурами бычьими я закрыта—
Освободи, брат!..

Правду тебе рассказать не в силах.
Совсем придушила меня могила—
Поторопись, брат!..

Спаси скорее, пока жива,
Выслушай правды моей слова—
Всё расскажу, брат!..

Младший брат, слова Сынару расслышав, головой покочал:

— Видно, мне голос сестры бедной чудится...

Вокруг аила младший брат бродит, места себе не находит. Острым ножом левое ухо себе отсекает, а слова Сынару о могиле из головы не выходят. Пошёл младший брат к аилу сестры, у дверей свежую землю увидел. Носком сапога землю порыл, видит—хвост бычий торчит. Брат за этот хвост ухватился, дернул—целую бычью шкуру вытянул, за нею другую, третью, все девять шкур. Так он сестру нашёл, из девятиаршинной могилы её поднял, в аил на руках унёс. Старшие братья с жёнами тотчас в аил прибежали. Три снохи горластые так заголосили, что слов не слышно. Мужьям рта раскрыть не дают, кричат:

— Сынару, такая-секая, бегала женаха искать, да видно, женихи же над нею подшутили, под бычьей шкуры её упрятали в яме... Так негодяйке и надо!..

Сынару слова сказать не может, из глаз её слёзы льются. А снохи, не унимаясь, орут так, что и тридцати мужчинам их

не переорать. У трёх братьев от гама головы закружились. Снова жёнам они поверили, избили измученную Сынару и у очага, давно потухшего, бросили, сами в аилы свои ушли.

Слезами умываясь, глаз не смыкая, ночь пролежала бедная Сынару в холодном аиле. Что делать ей?.. Ходит в народе такая поговорка: объединенная кочка снова зазеленеет, а тот, кто объел её, рано или поздно засохнет. Быть может и к Сынару, обиженной, когда-нибудь счастье придёт? Так Сынару думала.

А снохи лукавые раньше мужей встали, к Сынару сбежались, пинают её лежащую, за волосы дёргают, из аила гонят—со скотом управляться, пищу готовить. Милая Сынару побой молча стерпела, слова снохам не вымолвила и за работу взялась. А снохи—три злых волчицы—около мужей увиваются, на Сынару клеветают, братьев к ней близко не подпускают.

Братья, сладко поспав, жирно покушав, на охоту уехали.

Три чулмуски, мужей проводив, советуются между собой, как Сынару извести. Самим убить—люди узнают, позор дочерям богатеев будет. И порешили: так всё подстроить, чтоб кто-нибудь из братьев убил Сынару... За день до приезда мужей с охоты, три снохи на Сынару кинулись, в оба уха ей расплавленного свинца налили. Бедная Сынару оглохла. От боли горько она рыдает. От невыносимой боли язык у неё отнялся. Этого и хотели снохи.

Приехали братья с охоты, добычу сами в аилы внесли, сами коней своих расседлали. Притворно любезные жёны их жалобами встречают:

— Сладу нет с вашей сестрой. На женихах она помешалась, с ума сходит. Сама себя исклечила, ничего слышать не хочет.

Братья в аил к Сынару отправились. Горько бедная Сынару плачет, слова не может вымолвить. Братья от неё ничего не добились, разгневались. Между собою советуются: что с упрямцей делать?

Старший брат говорит:

— Нехорошо братьям своей сестре мужа искать—посмешищем для людей станем. А она, видно этого хочет. Лучше прикончить её самим, от позора избавиться.

Так и решили—убить Сынару. Младшего брата сделать это заставили. Взял он бедную Сынару за руку, в лес дальний повёл.

По пути брат-близнец раздумывал: „Зачем я буду родную сестру убивать? Если ей суждено умереть, пусть погибнет не от моей руки, отдам её во власть земли и воды“. Так решив, младший брат ящик из досок сделал, в него Сынару положил, наглухо ящик заколотил. В стаде быка поймал и тут же его зарезал, с быка, словно с белки, шкуру через голову снял. В шкуру бычью ящик он заголкал, крепко концы заделал. За бычий хвост ухва-

тившись, ящик к реке поволок. Напрасно бедная Сынару его умоляла к братскому сердцу взывала. Брат-близнец сбросил ящик в быстрый горный поток, дикая река его подхватила, вниз по течению помчала.

Младший брат вернулся домой, братьям сказал, что сестру убил, в лесу её тело похоронил. Дикие волны реки Турген-Су ящик, подкидывая, мчат, о дикие камни его ударяют. Каждая скала смертью бедной пленнице угрожает. День и ночь провела Сынару в своей пловучей могиле.

В это время на быстрой реке Турген-Су семь молодых рыбаков рыбу ловили. Один из них бычью шкуру, по волнам плывущую, заметил, товарищам крикнул:

— Глядите бык в Турген Су тонет, давайте его спасём!...

Тотчас другой молодой рыбак в поток в Турген-Су кинулся, к тонувшему „быку“ поплыл. Зубами крепко в бычий хвост ухватился, на берег „быка“ вытянул. Увидели семь товарищей, что это не бык а ящик бычьей шкурой обтянутый. Быстро шкуру разрезали, с ящика крышку сняли—встала из ящика Сынару, всех красотой своей удивила.

Семь молодых рыбаков опешили, удивлённых глаз с девицы не сводят, сами себе не верят. у каждого дума одна: „Вот бы такую красавицу в жёны взять!“ Семь товарищей между собой заспорили, семь друзей соперниками стали: кому девица в жёны достанется?

Один из семи говорит:

— Друг друга нам не переспорить. У самой девушки спросим: кто из нас ей больше понравился? Тот и в жёны её возьмёт.

Семь рыбаков, семь молодцов, красавицу окружили, спрашивают, кто больше всех ей по сердцу.

Сынару, головой покачав, печально им говорит:

— Слов ваших я не слышу...

Семь молодцов-женихов опешили: какая жена из глухой девицы, хоть и красавица!..

Один лишь рыбак, тот, что спас Сынару из волн Турген-Су, говорит:

— Что ж, видно, счастье моё такое. Я её из реки вытащил, я её и в жёны возьму. Пусть она и глухая, зато сильна и красива, хорошей работницей будет. Где мне, бедному рыбаку, жену лучше этой найти? Как-нибудь проживём...

Молодой рыбак к Сынару подошёл, ласково за руку её взял, в свой аил проводил. Мать рыбака молодой невестке обрадовалась, как дочь её обласкала. По бедности своей они той небогатый устроили, славно повеселились.

Тут новая жизнь Сынару началась.

Понемногу дар речи Сынару обрела, а чужих голосов не слышала.

Так они с мужем и жили, редко между собой разговаривая, плохо друг друга понимая. А руки у Сынару — золотые, за что бы она ни взялась, всё у неё выходило чудесно. Свекровь перед соседями невесткой не нахвалится. Молодой рыбак жену свою всё больше любит.

Однажды Сынару мужу нож подаёт, просит ей голову поскоблить. Муж охотно берётся, пряди волос Сынару перебирает. Тут и увидел он — в ухе Сынару что-то сверкнуло. Берёт рыбак шило, из уха жены слиток свинца вынимает. Сынару от боли вскрикнула и вдруг одним ухом голос мужа услышала. Муж из другого уха свинец вынул, к Сынару слух вернулся, лучше прежнего стал.

Оба они сильно обрадовались, впервые досыта наговорились. Счастью молодых конца не было.

Жизнь их светлей и радостней стала. Скот их на пастбищах стал размножаться, в аиле достатку прибавилось. Работа так и горела в руках молодых супругов. Через год Сынару сынка родила, в аиле ещё радостней стало. Сына нежно они растят, всё время сыном либуются.

А младший брат Сынару в этот год, о судьбе сестры своей беспокоясь, от тоски поседел, от горя сгорбился. Он ведь живую в поток её бросил, что с нею случилось — не знал. Если б знал, что она погибла, может быстрее бы Сынару забыл.

Охотничье счастье ему изменило, с охоты он часто с пустой суминою возвращается, бывает, что дома перекусить нечего.

Вот и решил он узнать — жива ли сестра, если погибла, останки её найти, по-хорошему похоронить. Жене и братьям ничего не сказав, на поиски Сынару он отправился, вниз по течению Тюрген-Су поплыл.

Тоска его сердце сильнее гложет. Как зверь одинокий, от по берегам рыскает; как безумный — по волнам носится. Ночами плачет, а дни в поисках проводит. Обессиленный, на мокрый камень повалится; слезами обливаясь, поёт:

Тюрген-Су, каждый берег твой
Исходил я вдоль-поперёк,
Но сестру мою ни живой
И ни мертвой найти не мог.

Тюрген-Су, твои воды быстры,
Всё я дно твоё обыскал —
Утонувшей моей сестры
Не нашёл я в твоих песках.

В чреве матери нам с сестрою
И тепла, и места хватило;
На земле, сестрица, с тобою
Жить всегда мне радостно было...

Старшие братья силой угроз
Сбили с ума меня, мужика —
Сестру мою милую я принёс
В жертву тебе, Тюрген-Су — река.

Ой, Сынару, моя Сынару
Если ты встретишь убийцу-брата —
Пусть от твоей я руки умру, —
Достойной будет расплата!..

Так тосковал и пел близнец-брат Сынару и снова пускался в поиски.

Вниз по реке пробираясь, на берегу рыбачьи аилы увидел. Возле скал они приютились. Бегом к аилам он побежал и на пути повстречал старушку. Даже „якшы ба“ ей не сказал, издали закричал:

— Три года назад в реке утонула девица — сестра моя. Не видала ли сама, от людей не слыхала ли об утопленнице? Скорей, не томи, скажи!..

Старушка тотчас ему ответила:

— Знаю, сынок, знаю. Три года назад из реки Тюрген-Су рыбаки наши девицу спасли. Глухой она оказалась.

Старая женщина рукой на один аил указала, своей дорогой пошла.

Туда и кинулся брат Сынару, дверь распахнул — и сестру увидел. Как подкошенный он повалился, недвижим и бездыханен лежит. Сынару не скоро своего близнеца-брата узнала, а, взглядев, обрадовалась. Плакала и смеялась. Брат, наконец, очнулся; на коленях стоя перед Сынару прощенья у неё просил...

Добрая Сынару про обиду забыла, вкусную пищу сварила, брата ласково угощает.

В это время вбежал в аил её маленький сын. Сынару сына подозвала и говорит:

— Налей, сынок, араки в чашку, дяде родному её поднеси, да песенку ему спой.

— Какую песню дяде спеть? — мальчик у Сынару спросил.

Мать на ухо что-то ему шепнула.

Сын Сынару, держа в правой руке чашку, на правое колено опустился и звонко запел:

Если ты не стыдишься, дядя,
Пей — аракою чашка полна!

Если ты не в обиде, дядя,
Чашку красную пей до дна!

Видит племянник удивлённый, что дядя красней чашки стал, от стыда готов сквозь землю провалиться. Слезы ручьями из глаз дяди хлынули. Рыдая, он с места вскочил и со всех ног из аила бросился. Больше его не видали.

А мальчик во след дяде глядел, с протянутой чашкой растерянный стоял.

— Скажи, моя мама, почему дядя сбежал?— у Сынару мальчик спросил.

— У тебя все дяди такие стыдливые, — ему Сынару ответила.

Мальчик с колена встал, чашку поставил. обиженно матери говорит:

— Видно, ты нехорошую песенку петь заставила, поневоле стыдно ему стало...





ФОЛЬКЛОР

ХВАЛА ЛЕНИНУ

Думы твои глубоки,
Счастье наше — Ленин.
Стремлений твоих высоких
Народ не забудет. Ленин.

Мудрость твоя нетленна,
Народом любимый Ленин,
Ты бедных из барского плена
К жизни вывел, Ленин.

Ты бить врагов научил,
Бесстрашно и смело, Ленин.
Дорогу нам осветил
К коммуне твой гений, Ленин.

СТАЛИНСКОЕ СЛОВО

По богатырски летающая
Орёл птица красивая.
Великим баатыром Сталиным
Жизнь нам дана счастливая.

Песня народа нашего
Сама из сердца просится.
Всё, что вождём сказано,
До дальних аилов доносится.

Птицы стальные крыльями
Тучи прорезали смело.
Слово родного Сталина
Мир, как орёл, облетело.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

Зажжённый Лениным и Сталиным.
Как пламя, вспыхнул Октябрь.
Народам принесший счастье,
Как солнце, ярок Октябрь.

Народ угнетённый веками
К жизни вызвал, Октябрь.
Для злых и коварных баев
Ты бурею был, Октябрь.

Царя кровожадного цепи,
Навек разорвавший Октябрь,
Ты трудовому народу
Свободу дал, Октябрь.

Сквозь чёрные тучи горя
Ты солнцем сверкнул, Октябрь.
Разбив произвола цепи,
Ты счастье нам дал, Октябрь.

ПЕСНЯ О НОВОМ АЛТАЕ

Как весной на долине цветы.
Наша жизнь расцвела молодая.
Не увидим мы больше глухой темноты
На горах голубого Алтая.

Ярче самых больших костров
Полыхает зарница, играя.
В жизни нашей нет радостней слов,
Чем слова о цветущем Алтае.

Птицы звонко щебечут в кустах,
Свои гнёзда навечно свивая.
Никогда не замолкнут в горах
Несни счастья с новым Алтае!

ПЕСНЯ СТАЛИНУ

Как поверхность земли нагревает
Солнце яркого тёплым луч, —
Так сердца теплотой наливает
Мысль о том, кто велик и могуч.

Как бы ночь темна не была
Свет луны загорит, как заря,
К счастью в жизни нас привела
Мудрость Сталина-богатыря.

Нам, не знающим в жизни путей,
Путь прямой и широкий он дал.
И тогда на века, ярче тысячекратно,
Жизнью новой Алтай засиял.

Власть Советов и партия дали нам
Счастье жизни и радость труда.
Славить будем великого Сталина
В лучших песнях везде и всегда.

ПЕСНЯ О СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Взмахами крыльев сильных
Над Алтаем сокол пролетал.
Нам Сталин — отец народов
Великий закон создал.
Самолёт звучно песню поёт,
Догоняя по небу тучи.
И вершиной до туч достаёт,
Как скала, наш закон могучий.
При заисанском законе старом
Жизнь была беспрочно темна,
А теперь наша жизнь в колхозах
Счастьем светлым до края полна.

На высоких деревьях в горах
Птицы звонкие песни поют.
На Алтае во всех домах
Любят новый закон и чтут.

Покрывает долины весной
Цветов шелковистый ковёр.
Принёс новый закон с собой
Ещё больший для жизни простор.

Хоть воды Катунь сильны —
Нам выстроен крепкий мост.
Закон для народов страны
Дал могучий, невиданный рост.

Из малых ручьёв образуясь,
Реки в море большое текут.
В братстве дружном народы страны
К светлой радостной цели идут.

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

Голубые Алтайские горы,
Вы снежной дохой покрыты.
Ценные звери и птицы скорые
В лесах ваших дивных скрыты.

Голубые Алтайские горы,
Водопады со скал ваших льют.
Ежегодно охотники в город
Много мягкого золота шлют.

По ущельям горным охотясь,
Я большое счастье достал.
Ежегодно зверей промышляя,
Я полезным Родине стал.

Дорогая страна моя,
Ты мне счастье большое открыла.
Пусть мне семьдесят и видна седина,
Но охочусь я, как юнокрылый.

КОЛХОЗНАЯ

Сколько я лет томительных
В поисках счастья ходил.
Жизнь отыскал хорошую
Только в колхоз вступив.

Со скотом тебенюя на пастбище
Знатым стахановцем стал.
Приподняв на руках ягнёночка,
Знаю, что совесть моя чиста.

По северным склонам скакать
Вороной иноходец есть.
Чтоб землю в колхозе пахать,
Коней у нас много—не счесть.

Высокий хребёт переваливать
Серый есть иноходец.
Хлеб крупнозёрный сеять,
Много земель находится.

По горным лугам стада
Бродят, тучнея и множась.
От радостного труда
Поля золотятся рожью.

Песнь хожу и пою:
Радость в груди закипает.
На деревню глядя свою,
Кто из нас петь не желает!

Травы сочные с силой
К солнцу тянутся ввысь.
Радость в народ вселила
Ленина мудрого мысль.

Кедров могучих кроны
На землю роняют тени.
Счастье дал миллионам
Великого Сталина гений.

НАША АРМИЯ

Советский народ защищающая
Сильная армия у нас есть.
Победно с врагом сражающейся
Армии нашей хвала и честь!

Любимой родине нашей
Защита надёжная и сила
Врага, что был зол и страшен,
Советская армия раздавила.

Шашкой фашизма голову
Снял советский воин.
Враг ненасытный народов
Смерти иной не достоин.

Землю родную спасшей
От подлых фашистских зверей,
Славу поём мы нашей
Армии богатырей.

О КОНСТИТУЦИИ

Дружного общества жизнь
В Конституции отображена.
Советской власти победа
В Конституции закреплена.

Морем ярких цветов
Луга расцвели и пашни.
Как летнее солнце, закон
Сердце осветил наши.

Летние дни пришли.
Зеленую лес покрылся.
Новый закон страны
Солнцем в сердцах засветился.

Великий закон страны
Великий ум создаёт.
Великий народ хвалу
Великому Сталину воздаёт.



Павел Кучияк

(К 50-летию со дня рождения)

Х В марте исполнилось пятьдесят лет со дня рождения известного алтайского писателя Павла Васильевича Кучияк. Я знал его в течение двенадцати лет. Он частенько гостил у нас в Новосибирске, когда привозил для журнала „Сибирские Огни“ и для издательства свои новые произведения. Я часто заезжал к нему в Ойрот-Тура. Весной, летом, зимой мы бродили по горам Алтая, охотились на козлов, ловили хариусов в быстрых реках. Иногда мы заседывали лошадей, наполняли перемётные сумы сухарями и отправлялись на полтора-два месяца в далёкое путешествие.

Он любил путешествия, подобно исследователю, открывающему для мира неизведанное. Он исследовал жизнь своего народа и открывал для нас, его друзей и читателей, всё новые и новые черты вчерашних кочевников, вступивших в год великого перелома в иную жизнь.

У Вся жизнь Павла Кучияк была большим и увлекательным путешествием: из дымной юрты в светлый дом, из глухого урочища в город, из среды неграмотных охотников в среду советских писателей, из семьи забитых отсталых кочевников в большую семью передовых народов мира, из мглы и мрака тесной долины на вершину современной культуры. Это было славное путешествие! Путешествие-счастье!

Я знал семью Павла Васильевича, знал его родственников и считаю долгом рассказать о его необычайном путешествии всё, что осталось в памяти.

Шаман Чочуш

Весной 1932 года я изучал шаманизм на Алтае. Но шаманов в Ойротии уже в то время почти не было: старики умерли, молодые отреклись от своего занятия.

В библиотеке музея мне дали книгу этнографа А. В. Анохина — „Материалы по шаманству“. Перелистывая эту книгу, я остановился на загадочной смерти одного шамана:

„В вершине реки Куюм, — читал, — шаман Чочуш в болезненном припадке убежал тайно из своего аяла, двое суток бродил

по вершинам гор, а на третий день его нашли за пятнадцать вёрст, в вершине другой речки, уже мёртвым.

Один старый телеут, приятель Анохина тоже этнограф добавил к этому:

— В судьбе Чочуша было много странного. Даже имя у него странное: Чочуш — испуг.

Испуганным он прожил всю свою жизнь: и бога боялся, и чертей пугался, — не знал, чему верить. Среди шаманов он с молодости прослыл отступником от обычаев старины, — он знал грамоту. Чемальский священник дал читать ему религиозные книги.

Чочуш долго мучился над вопросом: какому богу поклоняться — русскому или алтайскому? На этой почве у него развилась душевная болезнь и он, потеряв рассудок, убежал в лес...

В довершение этнограф сказал мне:

— Здесь, в нашем городе, живёт сын шамана Чочуша. Сегодня мы его увидим..

Воробышек или Собачье Ухо

В те дни Ойротия праздновала своё десятилетие. В только что отстроенном здании национального театра был объявлен первый в истории горного Алтая спектакль — шла пьеса П. Кучияк „Борьба“. Мне перевели фамилию автора: Кучияк — Воробышек. Хотелось поскорее встретиться с первым алтайским драматургом, посмотреть какой он, этот Воробышек. Но мой спутник, старый телеут, не спешил в театр, решив по дороге рассказать всё, что он знал про сына шамана Чочуша:

— Первый сын у шамана родился белый, на алтайца непохожий. Ему дали имя Казакул — Русский парень: русских тогда всех звали казаками. Второму сыну дали имя Ефим. Оба они умерли. Родители испугались: злые духи-курмеса задушили у них детей. Задушили потому, что дети носили хорошие, красивые имена. Считалось, что курмесам нравятся младенцы с такими именами. И Чочуш с женой дали себе слово: родятся ещё дети — давать им скверные имена.

— Когда у них родился третий сын, — продолжал этнограф, — прокололи ему ухо и в отверстие вложили — на счастье! — пучёк собачьей шерсти. Младенца стали звать Ит-Кулак — Собачье-Ухо. Какой курмес позарится на ребёнка с таким именем? Это даже не человек, а собачье ухо. И мальчик стал жить, вырос...

Мы подходили к театру, и моему спутнику пришлось на время оборвать свой рассказ. Уже был дан третий звонок, и двери в зал закрывались. Мы вошли последними. Перед спущенным занавесом стоял алтаец в чёрной рубашке, перетянутой узеньким ремешком. Безусое и безбородое лицо его походило на задымлённую бронзу, маленькие чёрные глаза поблескивали, как спелая

черёмуха на солнце, пышные волосы взметнулись над широким лбом. В его стройной фигуре, в простоватой улыбке и задорном блеске глаз была юность, а в голосе и словах уже ясно чувствовалась зрелость: его можно было принять и за двадцатилетнего и за сорокалетнего человека. Говорить по-русски ему было трудно, и он больше пользовался жестами и мимикой, чем словом. В нём чувствовался способный актёр, и я спросил своего соседа:

— Кто это? Режиссёр? Художественный руководитель?

— Автор пьесы.

Я обрадовался. Так вот он какой этот Воробышек, первый драматург Алтая!

— Он — преподаватель, — сказал за моей спиной незнакомый человек своему соседу. — В совпартшколе читает обществоведение.

Автор рассказал русским зрителям содержание своей пьесы и смущённо улыбнулся.

✕ Действия мало, агитации много. Сейчас сами увидите.

Это прозвучало трогательно. Впервые я видел автора, который перед спектаклем говорил зрителям о недостатках своей пьесы.

Пьеса была злободневной, в ней рассказывалось о борьбе с баями, пытавшимися взорвать колхоз изнутри, и алтайцы, съехавшиеся со всей области, смотрели и слушали её в удивительной тишине, точно каждое слово, произнесённое на сцене, было для них откровением.

Среди актёров-любителей выделялся один, исполнявший роль бая. Он нашёл нужные интонации и хорошо владел жестами и мимикой. Было ясно, что роли распределены неправильно. Ему бы, как самому сильному актёру, следовало играть не бая, а передового колхозника.

И вдруг мне показалось, что будь он положительным героем в этой пьесе, он неожиданно сказал бы со своей милой простотой:

— Действия мало, агитации много...

Я прислушался к его голосу. На сцене был сам автор пьесы! Я хотел, чтобы сосед подтвердил моё открытие и спросил его:

— Это — Кучияк? Воробышек?

— Да, это — Ит-Кулак. Собачье-Ухо.

Я повернулся несколько разочарованный и удивлённый:

— Сын шамана Чочуша?

— Да, — подтвердил этнограф, загадочно улыбаясь.

— А по голосу — сам Кучияк.

— Он и есть Кучияк.

На нас зашикали, но этнограф не мог оставить меня в ведомении и не мог не открыть своего „секрета“.

— Да, да, — подтвердил он. — Павел Васильевич Кучияк это и есть Собачье-Ухо.

Шаман и фотографы

В тот год мне не удалось встретиться с Кучияком в городе Ойрот-Тура. Московские фото-репортёры приехали снимать Алтай для одного иллюстрированного журнала, и Кучияк отправился с ними в качестве испытанного гида и переводчика. Он отлично знал свой край со всеми его хребтами и долинами, реками и тропами, и ему всегда поручали сопровождать „знатных“ путешественников.

После праздника мы с поэтом Василием Непомнящих тоже отправились в глубь горы, спустя несколько дней, верхами подъезжали к колхозу „Новый путь“, дома и юрты которого стояли в центре солнечной долины. Новенькие, жёлтые, как свечки, столбы телефонной линии указывали нам путь. А потом, километра за два, мы увидели тёмнокрасную крышу здания школы, маслозавод, баню на берегу реки и амбары возле серого каменного гребня. Это был тогда передовой алтайский колхоз во всей области. Там, как нам говорили еще в городе, все колхозники за исключением дряхлых стариков и старух, уже знали грамоту, там раньше других освоили земледелие и посевную площадь расширили до пятисот гектаров. Подъезжая к этому колхозу, мы надеялись услышать монотонный гул тракторов, бойкий стрекот сенокосилок или, на худой конец, стук молотков в кузнице. Думали даже о патефоне, о радиоприёмнике. И вдруг мы услышали хохот шаманского бубна. Это было так неожиданно и дико, что мы невольно остановили коней. Да, сомнения не было — в колхозе, где-то в центре этого нового селения плясал шаман. Но шкуры жертвенной лошади нигде не было видно. Мы покинули коней, чтобы застать хотя бы конец этой дикой мистерии.

И вот перед нами открылась поляна, в одном конце которой стояли избы и юрты колхозников, в другом — школа. Посреди этой поляны кружился шаман, бил в бубен и что-то крикливо пел. Но костра не было, и колхозники, расположившиеся полукругом, громко смеялись. Потом мы слышали, что они в разговоре то и дело повторяют:

— Кучияк... Кучияк ..

Однофамильцы среди алтайцев — редкое явление, и мы удивились, что шаман носит имя Кучияка и, естественно, вспомнили первого драматурга Ойротии.

И, в самом деле, это был он, Павел Кучияк, сын шамана Чочуша. Он кружился, бил в бубен и пел, а два фото-репортёра, забегаая то с одной, то с другой стороны, пощёлкивали линейками.

Когда съёмка была закончена, они объяснили нам:

— Бубен и шубу мы привезли из музея, — знали, что настоящего шамана вам не найти. Но здесь никто не мог шаманить. Если бы не наш талантливый проводник и переводчик, мы не смогли бы организовать кадров о старом диком Алтае. Актёр шаманил нам, как будто, неплохо.

Внук Сокола

После съёмки мы все легли на поляну, залитую солнцем. И Кучияк рассказал нам о своих предках. Корни его родословной терялись в глубинах XVI века. В то далёкое время в горах Алтая кочевал скотовод Ыргай. Это был один из майманов, кость (род, по-алтайски — сеок) которых считалась самой сильной в этом крае. Внук Ыргая носил имя — Кураган (ягнёнок). Его помнили все майманы до наших дней. Дело в том, что у алтайцев существовал обычай, запрещавший женщинам произносить имя старшего в роде и, когда нужно было что-то сказать о ягнёнке, они, боясь нарушить покой своего предка, говорили обиняками:*

— Маленький, чёрненький, кудрявенький ..

Или:

— Новорождённый сынок овцы...

Внук Курагана родился через год после того, как алтайцы, теснимые джунгарами, прикочевали к Бийской крепости и стали просить принять их в русское подданство. У мальчика были светлые волосы, на редкость белое лицо, голубые глаза, и ему дали имя Орузак — Русский. И женщины смело называли его по имени: русский не рассердится.

Правнук Орузака шаман Челюжек был в своём роде тоже знаменитым человеком: его считали самым сильным шаманом и после смерти его душе долго приносили жертву..

Сын Челюжека — Кучияк дал фамилию своему правнуку, будущему писателю. По обычаям старины, будущего писателя в детстве звали Ит-Кулак Чочушев, но он не любил отца, вырос у дедушки Капшая Кучиякова и сам стал зваться Кучияковым. В тот год, когда мы встретились, он только что зачеркнул в документах последние буквы своей фамилии.

— Теперь я — просто Кучияк! — говорил он, и ему это нравилось — Воробей, — и дети мои — Кучияки, а не Иткулаковы, — продолжал он. — Теперь у нас, словно у русских, постоянная фамилия!..

Родство на Алтае признавалось только по отцу, и, как все алтайцы, Кучияк почти не знал предков своей матери. Он мог

* На Катунском хребте есть бурная река Кураган, похожая своими крутыми струями на шкуру серого ягнёнка. Майманы не решались называть её настоящим именем, а говорили о ней намёками.

назвать только деда и прадеда. Деда звали Шонкор. По-русски это — сокол. Маленький, сгорбленный, щуплый старичок с чёрной козлиной бородкой, он не походил на сокола, но, когда начинал говорить о путях своего народа или в песне воплощать мечту поколений, это был сокол вольной мысли, взмывавший в высоту, чтобы оттуда ринуться на противника. Будучи известным сказителем, он пел героические былины и лирико-романтические сказки под свой аккомпанемент на двухструнном самодельном топшуре. Пел по несколько ночей подряд. Он так хорошо знал длинные народные сказания, что исполнение каждого из таких произведений у него занимало от трёх до семи ночей. Его герои скакали через моря и горы на своих крылатых конях, сражались с ханами и баями, угнетавшими трудовой народ, строили мосты через реки, летали на чудесной птице Каан-Керעד, освобождали девушек, похищенных чудовищами, вели борьбу с самым злым богом Эрликом, подымались на небо и там зажигали новые звёзды. Слушатели, собиравшиеся со всех окрестных долин, сидели, как зачарованные, забывали про чай, про табак. А потом они по всему Алтаю возили добрую славу о чудесном Соколе поэтического народного слова, и Шонкора с его топшуром приглашали то в одну, то в другую долину, — все хотели слушать его сказки.

У Шонкора была сестра с неожиданно-странным именем Баргаа—Дурная трава, но с такой же, как у брата, вместительной памятью и с таким же приятным голосом. Она тоже пела народные былины и сказки, заимствованные у своих родителей.

Баргаа вышла замуж за Капшай Кучиякова. У неё родился сын Чочуш. А Шонкор воспитал дочку Адимаш и выдал за Чочуша, за её двоюродного брата.

Кучияк, рождённый представительницей рода знаменитых сказителей, унаследовал путь народных певцов.

„Не отсюда ли течёт его поэтический родник? — подумал я. — Не старый ли Сокол дал ему любовь к театру и не он ли пробудил во внуке актёрский талант?“

Кучияк подтвердил мои догадки:

— Я спою вам сказки дедушки Шонкора, — сказал он.

В нём уже чувствовался сказитель. Он приподнялся, как птица, раскинувшая крылья перед взлётом, посмотрел в бескрайние просторы синего неба, и лицо его посветлело, и широко распахнутые чёрные глаза показались голубыми, — так свежо и сильно вспыхнула в них светлая любовь к поэтическому слову!

В это время к нему подошёл председатель, сказал что в конторе собрались колхозники и что пора начинать беседу о происхождении мира.

Кучияк ушёл. Мы расстались, не успев попрощаться.

В дальнюю дорогу

Мы встретились через год.

В Ойрот-Тура заседлали лошадей, повьючили мешки с сухарями, взяли ружья и отправились в двухмесячную поездку по труднодоступным районам Алтая. Наш путь лежал по долинам Маймы и Куюма, а затем — вдоль хребтов Иолго и Сумулты в Улаганский аймак, к границам Монголии. Кучияк родился и большую часть жизни провёл в долине Куюма, мы ехали в его родные края, и на первой же остановке он начал изумительные повествования своей жизни.

Первая ночёвка — в верховьях Маймы, на маленьком острове, где весёлые берёзки тянутся вверх, к солнцу и как бы стараются заслонить собою хмурую толпу старых кедров. Об этом острове сказал нам ещё в полдень:

— Там хорошо ночевать: — дров много.

Он любил кедрачи и, предвкушая прелесть ночёвки под сенью старых, пахнувших живой смолой, деревьев, певуче проговорил:

— Кедры ночью шуметь маленько будут, запоют, как старики-кайчи, сказки свои расскажут...

Потом мотнул головой:

— Рано едем. Осенью кедров дали бы нам шишек с сладкими орехами. Прямо бы в костёр уронили орехи...

Он ещё не отвык от неправильного произношения некоторых русских слов, заученных в детстве, и так и произносил: „орехи“, „орехов“.

Костёр он развёл в полминуты, положив звёздообразно сухие хворостинки, срезал кривой прутик, воткнул в землю, как пружинку, и повесил над огнём котёл с водой. Мы сели возле костра и, в ожидании ужина, затихли.

Где-то в ветвях кедра, под которым мы сидели, тревожно пискнул бурундук. Кучияк поднял голову:

— Да спускайся, спускайся — не тронем. — успокоил маленького зверька. — И кедр не подпалим. Не бойся.

Мы, не шевелясь, смотрели на дерево. По шерботому стволу его, изогнув тонкую спинку, осторожно спускался желтоватый зверёк с чёрными полосками от головы до хвоста. За щеками он нёс незрелые кедровые орешки. С нижней ветки он прыгнул на землю и, весело свистнув, скрылся в траве.

— Побежал в свой амбар. — Сказал Кучияк и повернулся к нам. — А вы знаете почему он полосатый? К нему пришёл в гости медведь. Бурундук обрадовался и открыл перед ним свои амбары: „Покушай, дедушка, орехов...“ Гость поел, а спасибо сказать не мог — языка бурундучьего не знал. Поднял лапу и

погладил хозяина: „Какой ты хороший, добрый...“ Пять полосок осталось, — кровь запеклась. И бурундук стал полосатым.

Кучияк не взглянул на нас, своих слушателей, не засмеялся вместе с нами, словно он не только в детстве, но и сейчас верил в это шутливо-наивное объяснение одного из явлений животного мира.

— Кедр рассказал тебе эту сказку?

— Дедушка от кедра слышал. А мне кедр рассказал другую. Про добрую кедровку.

И он начал сказку про кедровку, пёструю, большеголовую и кракливую обитательницу хвойных лесов:

— Кедровка клевала орехи и уронила шишку медведю на голову. Испугалась и стала оправдываться: „Ой, мой добрый дядя, я тебе шишку бросила! Всё лето для тебя её берегла“. Медведь поблагодарил: „Теперь друзьями будем“. У медведя был на примете один кедр с хорошими шишками. Он позвал туда кедровку: „Помоги старику, бросай шишки на землю“. А кедровка говорит: „Тут хвоя густая, — мне одной не справиться. Я позову свою родню“. — „Зови“, — сказал медведь. Кедровка закричала, все её родные слетелись, все шишки исклевали. Медведю ничего не осталось, и он, царь тайги, проклял её: „Я был жирный и останусь жирным, а у тебя к зиме одной ложки мяса не наберётся...“

— Так и вышло, — заключил Кучияк. — Медведь к зиме жиреет, а кедровка всегда сухая.

Потом кивнул на дерево, под которым мы сидели:

— А кедр тоже не любит кедровки, — много кричит: худая птица. Он туманом себя закрывает. Но у кедровки память хорошая, — каждую осень к нему прилетает и все орехи уносит...

Припомнил поверье:

— У кого память плохая, тот голову кедровки сушит и с собой несёт... Тогда помнит хорошо, только кричит громко...

Заслушавшись, мы забыли про котёл, над которым уже давно клубился пар.

Сирота

За сказками последовали воспоминания о детстве.

Я не записал этих рассказов Кучияка по свежей памяти, — надеялся, что он сам напишет книгу о себе. Но Кучияк успел написать только первые главы. Эти главы опубликованы в четвёртой книге альманаха „Сибирские огни“, и я могу начать с того, чем закончил он сам чудестное повествование своей жизни.

Счастливая пора после перекочёвки на летнее стойбище продолжалась недолго: в то лето стал „дуреть“ отец и умер.

Через несколько дней мать позвала шамана. Собирались гос-

ти помогать живьём разрывать жертвенного коня. Когда шкура коня была вздёрнута на берёзовую жердь—в подарок богу, а шаман, пьяный от араки и дикой пляски, повалился на землю, дядя матери, тоже пьяный, взял мальчика за руку и ввёл в юрту. Там из дымового отверстия была опущена вниз вершиной тоненькая берёзка. Мальчика поставили возле костра и косичку его привязали к ветке берёзки. Дядя показал ему новую, блестящую от лака, деревянную чашку. Хорошая чашка! Ни у кого такой нет. И эту красивую покупку могут отдать ему, если он ответит на все вопросы и выпьет горячее сало, которым мать только что наполнила чашку до краев.

Гости, сидящие вокруг очага, уже заранее ухмылялись. Дядя спросил маленького Ит-Кулака:

— Как собака лает?

— Гав, гав...—ответил мальчик во весь голос. Он знал, что если за стеной юрты не услышат его ответ, то дернут за берёзку, к которой привязана косичка.

— Как бык мычит?—продолжал дядя задавать вопросы.

Мальчик ответил и даже взбил ногой пепел возле очага.

— А что,—приступил дядя к последнему вопросу,—мы с тёткой ночью делаем?

Мужчины захохотали, женщины закрыли глаза руками.

Мальчик упрямылся и молчал. Его дернули за косичку. Тогда он заплакал. Он знал, что уже не будет пить сала и что ему не дадут эту красивую чашку, и ему стало обидно.

Гости, не дожидаясь окончания ритуала, начали есть мясо жертвенной лошади. Мать упрекнула сына:

— Я думала, что ты перейдёшь во взрослые...

Берёзку подёргивали всё сильнее и сильнее, и мальчик, чтобы не было так больно, ухватился за свою косичку. Тогда поднялся дедушка Капшай и стал ругать всех—зачем они довели парнишку до слёз. Он достал нож из костяных ножен, болтавшихся у широкой опояски, и обрезал ветку, за которую была привязана косичка Ит-Кулака.

Мальчик выбежал из юрты и спрятался в лесу.

Через несколько лун на стойбище справляли вторую свадьбу матери. Новый муж сказал, что он не желает видеть в своей семье сына сумасшедшего Чочуша.

Ит-Кулак понял, почему мать хотела, чтобы он скорее стал взрослым, понял, что он—сирота. С этих пор он особенно любил сказки о сиротах Боро-Чуде и Юскузек*. Оказавшись в одиночестве среди дремучего леса, Боро-Чуда во время большого пожара спас из огня змею. В благодарность змея сделала так,

* Юскузек—сиротинушка.

что мальчик стал понимать язык леса и рек, зверей и птиц. Сама Каан-Керездэ переносила Сиротинушку, по его желанию, из долины в долину. Юскузек вырос в могучего богатыря, победил жадных баев и уничтожил злого хана Караты-Каана. Установив на земле вольную жизнь для трудового народа, Сиротинушка женился на самой красивой девушке гор.

Маленькому Ит-Кулаку хотелось научиться понимать язык леса, язык зверей и птиц, хотелось вырасти богатырём и установить такую жизнь, чтобы никто не смел обижать сирот.

У дедушки Капшай

Долина Курум лежала между двух известных миссионерских станов: по одну сторону — Улал, по другую — Чемал. По соседству — русские сёла и деревни. Рядом — Чуйский тракт, тогда единственная дорога, пересекавшая Алтай с севера на юг. Но, тем не менее, кочевники этой долины были самыми отсталыми и тёмными людьми на Алтае. В этой долине жили восемь шаманов. Спрос на них был столь велик, что они ежегодно разрывали до трёхсот жертвенных лошадей.

Дедушку Капшай соседи по стойбищу не любили. Не любили потому, что он, внук известного Шамана Челюжека, одним из первых в долине принял христианство, отказался от жизни в юрте и построил себе избу с русской печью. Он носил русскую рубашку с поясом и по утрам умывался, не боясь смыть счастье, сеял ячмень, даже пшеницу, и привёз из Чемала каких-то диковинных птиц, которые несли ему крупные яйца. Одна из птиц, та, которая перед утренней зарёй всегда пела пронзительно-звонким голосом, своим гребешком напоминала птицу яман-куш*. А всем известно, что яман-куш прилетает с вершины грозного Адыгана, на склонах которого распахнуто шесть дверей, ведущих в подземный мир. Эта птица приносит людям страшные болезни. Кто бы ни повстречал яман-куш, всякий обязан убить худую вешунью, независимо оттого, сколько времени потребуется для погони за нею. И капшаевых птиц, по мнению соседей, тоже следовало перебить всех до единой. Они уже принесли невиданную болезнь его сыну Чочушу, закончившуюся такой страшной смертью. Но попробуйте сунуться к Капшаю — он самый меткий стрелок во всей долине и никогда не расстанется с ружьём. Лучше выждать, пока он сам умрёт от болезни, принесённой его птицами. А после смерти этого отступника, сменявшего доброе алтайское имя Капшай на русское — Александр, нетрудно будет придушить его ручных птиц.

* Каан-Керездэ — царь-птица.

* Яман — плохо, плохой, плохая Куш — птица. Удод.

Так говорили про дедушку Капшай соседи по стойбищу, и маленький Ит Кулак побаивался старика. Дедушка знался с русскими, не любил когда его звали Капшаем и заставлял всех своих родственников ломать язык на этом непонятном имени:

— Лесандра.

Отец тоже знался с русскими... и умер. Может быть, люди не зря говорят:

— Где русский сядет, там трава выгорит. И никогда расти не будет.

И мальчик Собачье-Ухо боялся русских. Но дедушка Капшай всегда был таким приветливым и кормил такими вкусными калачами, что несмотря на страх, гостить у этого непонятного человека было всегда приятно. Бабушка Баргаа тоже была приветливой и любила рассказывать внуку сказки про зверей и птиц Сказки старого кедра. Она знала откуда взялся медведь — как появился на свете глухарь, знала почему у кабарги на боках белые пятна. Она всё могла объяснить и сидеть рядом с нею было очень заманчиво.

И когда старик Капшай приехал за внуком, мальчик обрадовался, что он будет жить у них в избе. На этот раз дедушкина изба ему показалась заманчиво светлой, как в осенние дни, по которым он тосковал в долгие зимние вечера. И русские боги, висевшие в дедушкиной избе, не были такими страшными, как деревянная рожка на бубне отца: с ними не боязно оставаться одному. Если бы ещё у них не было бород, совсем было бы хорошо: они походили бы на доброго дедушку Капшай...

Мальчик оглянулся. Хотя в избе не было никого, он вслух поправил себя:

— На дедушку Лесандра...

Он встал на лавку, потрогал иконы рукой и не почувствовал ничего, кроме возросшего любопытства. На одной из них бородастый старик держал в руках блестящую книгу. Наверно это та самая золотая книга, о которой говорил отец:

— Мне бы такую...

Отцу не верили, что есть золотые книги, а оказывается — это правда: у русских богов есть.

В это время в избу вошёл дедушка, и мальчик отскочил от икон. Но дедушка остановил его, положив руку на плечо, и сказал:

— Молись, молись, балам*... Они тебе дадут хорошую жизнь.

А вечером дедушка объявил, что завтра он поедет в Чемал к попу Василию.

— Надо тебя крестить, — сказал он. — Это худо, когда в избе с иконами живёт Собачье-Ухо... Поп даст тебе русское имя...

Мальчик заплакал и бросился к бабушке, но она, взглянув на дедушку, тоже сказала:

* балам — дитя.

— Крестить будем, балам... Это совсем не страшно... А русские имена лучше алтайских...

Мальчик разревелся. Теперь бы убежать к матери, но она живёт в юрте у чужого мужа. Она даже сказала, чтобы он не ходил к ней.

Он любил своё имя, и ему было обидно, что его начнут звать как-то иначе. Собаку и ту до смерти зовут одной кличкой, а ему вдруг переменят имя. Ребяшки из соседних станований засмеют его.

Глядя на его слёзы, дедушка сдался:

— Ладно, балам, живи ещё немного Собачьим-Ухом... После сам увидишь—добро советую...

Адыган

Утром, заседлав лошадей, мы двинулись к перевалу, ведущему в долину реки Куюм. Возле тропы увязавшись за нами, порхала по кустам серенькая птичка и тоскливо насвистывала.

Кучияк показал на неё:

— Сестру ищет. Слышите крики: „Сестра, сестра! Кобыл доить...“ Нас она спрашивает: „Не видали сестру?“ Вот послушайте...—Он на минуту остановил коня.—Как ясно выговаривает...

И опять мне показалось, что он по-детски верит в сказку. Сказка коротенькая.

Серенькая птичка вначале была девушкой. Она очень любила свою старшую сестру. Они, сироты, жили вдвоём. Однажды серенькая птичка пошла за дровами, старшая сестра одна осталась в юрте. Девушка ходила долго,—залибовалась лесными цветами. О доме вспомнила тогда, когда услышала, что в табунах ржут недоенные кобылицы. Она побежала домой: „Сестра, сестра! Кобыл доить...“ Вбежала в юрту, а сестра—мёртвая: злой дух задушил. Девушка подумала: „Зачем мне жить одной в этой юрте? Сестры нет. Никакой мне радости в жизни не будет...“ Превратилась в серенькую птичку и вылетела в дымовое отверстие. Ей показалось, что душа умершей сестры тоже куда-то улетела серой птичкой.

— С тех пор,—сказал Кучияк в заключение,—младшая сестра ищет старшую: „Сестра, сестра! Кобыл доить...“

Он давно научился понимать язык птиц и зверей, язык леса.

Мы приближались к перевалу. Из-за лесистого хребта на юг подымалась лысая макушка горы с маленькими пятнами снега.

— Адыган! — обрадовался Кучияк встрече с самой высокой горой его родного края. — Вон смотрите...

И, обращаясь к горе, заговорил возвышенно, будто читал мажорные стихи:

— Адыган, Адыган! Родной мой Адыган! Половина мсей жизни прошла у тебя на подоле. У тебя там никогда пусто не бывало: всегда — белка, рысь, козлы.. Сколько тебе молений было. Сколько тебе шаманы коней в жертву принесли.. А мне, старик Адыган, каждый год много давал калбы, ореков, белки...

Мне подумалось, что, вероятно так, нахваливая и задабривая горных духов, охотники читают свои молитвы перед выходом на промысел.

Тропа привела нас в широкую долину, и теперь мы могли, понукнув лошадей, ехать рядом с Кучняком. Он рассказывал о своей первой охоте. Там, у подножия Адыгана.

Дедушка дал ему ружьё и сказал:

— Без козла не возвращайся.. Ты уже большой — пора тебе ходить на промысел и кормить семью...

Старик рассказал где и как проложены козын тропы, за каким камнем нужно спрятаться, на какое расстояние подпускать к себе козла и куда целиться.

Юный охотник ждал недолго. Козёл появился из-за кедра, о котором говорил дедушка, остановился, вскинул лёгкую голову на тонкой точёной шее и повёл ушами сначала в одну, потом в другую сторону. Ещё секунда, и животное, убедившись, что впереди нет никакой опасности, помчится дальше по тропе широкими, лёгкими и удивительно красивыми прыжками Быстрее ласточки, быстрее стрелы, выпущенной из лука. Ит-Кулак знал это по рассказам Капшая и во-время нажал спусковой крючок. Козёл упал, будто у него подломились передние ноги. Мальчик дрожал от проснувшейся в нём охотничьей страсти. Из под шапки его капались капли пота. Теперь никто не посмеет говорить: „Балам!“ Все будут говорить: „Охотник! Взрослый человек“. Муж матери пожалеет, что отказался взять его в сыновья. Его, такого меткого охотника!..

Он подбежал к сражённому лесному красавцу. Козёл, беспомощно двигая ногами, пытался встать, но ему едва удавалось приподнять голову, увенчанную маленькими ветвистыми рожками. Темнолиловым круглым глазом (второй глаз не был виден Ит-Кулаку), опущенным густыми чёрными ресницами, козёл хотел последний раз взглянуть на высокое синее небо, но не мог. Светло-красная гладкая шерсть на щеке взмокла, и молодому охотнику показалось, что смертельно раненый козёл плачет человеческими слезами.

— Он, наверно, тоже был человеком? Сначала — человеком, потом — козлом...

Мальчик бросил ружьё и побежал домой. Ему было жаль козла, и он, позабыв обо всём, заплакал.

Дома дедушка потрепал его за ухо:

— Не бросай ружьё... — И пошёл в лес.

Вернувшись домой с винтовкой и тушей козла, он сказал внуку:

— Стреляешь метко... Но, не знаю будет ли из тебя охотник?

На следующий день мальчик тоже вернулся в слезах, — раненый козёл ушёл от него.

Дедушка весь вечер молчал, а утром сказал внуку:

— Собирайся. Я отвезу тебя в деревню, к попу Василию — овец пасти.

Под защиту богатырей

Мальчик боялся попа Василия. У попа длинные волосы, будто он не мужчина, а женщина. Если не женщина, то какой-нибудь злой дух. Он только притворяется попом Василием.

Поп обязательно окрестит его и даст русское имя. А зачем ему менять имя? Он до смерти будет Собачьим-Ухом. Он не поедет в Чемал к попу Василию. Он знает, что ему делать...

И мальчик убежал к дедушке Шонкору. Старик знаком с богатырями. — когда возьмёт в руки топшур, разговаривает с ними, как со своими родственниками, — и он всё может сделать, если захочет. Скажет богатырям: „Завалите дорогу“. И богатыри забросают дорогу камнями. Сартакпаю скажет, тот поставит гору на гору — до самого неба. И дедушке Капшаю не проехать к своему попу Василию. Будет спокойно жить в своей родной долине будущий меткий стрелок Собачье Ухо.

Дедушка Шонкор был маленький, чёрный, как жук. Лицо всё в морщинах. Старый и страшный. При первой встрече, — это было тремя годами раньше, — Ит-Кулак испугался его:

„Это — злой дух“.

Теперь он смеялся над собой, — „злой дух“ защитит его от попа Василия.

Дедушка Шонкор удивился появлению мальчика:

— Ты что, Ит-Кулак? — спросил он. — Зачем ко мне пришёл?

— Про богатырей послушать...

— А-а, — повеселел дедушка и, так как дело было уже к вечеру, взял топшур. — Послушай, послушай, балам, да в голову себе всё положи. Меня многие приезжали слушать, а сами петь не научились. Ты учись...

Ударив по струнам, он запел хвалу богатырю Сартакпаю. Несколько слов он произносил скороговоркой, а потом одно слово тянул долго-долго, и голос его то журчал, как ручей в лесу, то напоминал полёт шмеля.

Воздав хвалу, старик запел о подвигах богатыря. Сначала о том, как Сартакпай строил мост через Катунь, затем о том, как он из поднебесья сбивал гусей камнями, а подконец приберёт самое интересное — про дорогу, по которой сейчас люди ездят из Чемала в Ороктой. Сартакпай ехал верхом. На пути его встал горный хребёт, уткнувшийся в Катунь. Богатырю не хотелось снова строить мост через большую реку. Он натянул тетиву своего лука и выпустил стрелу в хребёт. Стрела разорвала каменные громады, и богатырь проехал по ровному ущелью. А камни, поднятые стрелой, долго летели над Катунью и упали недалеко от устья реки Куюм. И теперь стоят высокими остро-головыми горами...

Ит-Кулак повторял за Шонкором былинку из слова в слово. Когда дедушка положил топшур, нерешительно спросил его:

— А ты его, Сартакпая, видал?

— Видал, — похвалился дедушка.

— Разговаривал с ним?

— Один раз всю ночь беседу вели.

— А он большой? Высокий?

— До неба. А спать ляжет — головой на одну гору, ногами — на другую. Ночью волки придут, пятки грызут, он маленько ногами пошевелит: „Блохи кусают...“

Ит-Кулак захохотал; осмелев, спросил деда:

— А Сартакпай может долину загородить? Всю? Горами? До неба?

Тут и открылся замысел беглеца. Дедушка Шонкор, хотя и не любил крещённого Капшая и не одобрял его поступков, а внуку всё же сказал:

— Сартакпай может всё... Но тебя я отвезу к Капшаю. — И Ит-Кулака за ухо. — Убегать нельзя... Дедушка теперь тебя по всем горам ищет, а ты здесь сидишь и глупости болтаешь...

— Он меня к попу...

— А что — к попу? Поп тебя не съест... — И Шонкор похлопал внука по щеке. — Дедушки, балам, надо слушаться...

Павел Васильевич

Чемал, после Улалы, был вторым основным миссионерским станом на Алтае. Туда часто приезжал из Томска митрополит Макарий — „поговорить с богом“. Для этого „разговора“ он удалялся на скалу, вздымавшуюся среди диких струй Катунь. Там, на голых камнях, стояла маленькая часовенка.

Чемал был резиденцией и благочинного Тимофея Бобрака. К тому времени, когда Ит-Кулак стал пасти овец у попа Василия Апанаева, Бобрак уже окрестил не одну сотню алтайцев и дав-

но носил на груди большую миссионерскую звезду. Каждого новокрещённого он вносил в свою ведомость и ждал новой награды. Появлению в Чемале некрещённого алтайского мальчика он обрадовался не меньше самого попа Василия, довольного своим внимательным и послушным пастухом. Но поп Василий опечалил своего благочинного:

— Отрок не соглашается принимать таинство святого крещения...

— Слово божие всесильно,—заметил Бобрак, разгадавший намерения попа Василия.

— Он говорит, что боится отрезать косу.

— Все они вначале так говорят.

— Этот объясняет: коса, говорит, связана с душой; косу обрежете—буду сохнуть, как подсоченная берёзка, совсем высохну и умру.

— Некрещённый, аки собака—поганый: в доме иерея жить непозволительно.

— Я трапезовать его с собой не сажу,—оправдывался Василий,—а словом божием воспитаю денно и нощно...

Ит-Кулак боялся своего волосатого хозяина и с первыми проблесками рассвета угонял овец на склоны гор. Там он чувствовал себя вольным петром. Он прыгал с камня на камень, как горный козёл; пересказывал цветам сказки своей бабушки; греясь на солнышке, смотрел в небо и пел про облака, плывущие в сторону его родной долины; передразнивая птишек, подманивал кукушку, играл на дудочках. В село возвращался в сумерки, когда по долине полагалось рыскать злым волкам. Рассказывали, что у них глаза, как раскалённые пуговицы, а острые зубы изогнуты, словно корни кандыка. Волки—самые страшные звери,—они перегрызают горло. Ит-Кулак боялся волков, но, тем не менее, он частенько принимался звать их:

— Волки, волки! Прибегите, всех овец порежьте...

Не будет у попа Василья овец, и он отпустит его к дедушке. Но волки не появлялись, и Ит-Кулаку приходилось возвращаться на поповский двор.

Зимой мальчик рубил дрова, носил воду из реки. Холод загонял его в дом, и хозяин все чаще и чаще заводил с ним беседу на одну и ту же тему.

По большим праздникам приезжал дедушка Капшай, спрашивал:

— Книжки читать, балам, еще не научился?

Поп Василий отвечал за него:

— Некрещённым книжки читать господь не дозволяет,—разум не даёт.

Весной, когда вода стала теплей, Ит-Кулак согласился креститься, но поп Василий неожиданно сказал ему:

— Теперь нельзя... Ты немножко подожди... — И погрозил мальчику пальцем. — Но никому не говори...

Вскоре Бобрак отправился в объезд церквей своего благочиния. Василий Апанаев в тот же день сказал пастуху:

— Теперь можно...

Мальчика повели в церковь, где уже стояла большая кадка с водой.

Священник радовался, — в его ведомости прибавлялся ещё один новокрещённый. Скоро и он, Василий Апанаев, тоже получит миссионерскую звезду.

Заглянув в святцы, он объявил мальчику:

— Ангелом твоим будет Павел... Сам апостол Павел... А по батюшке ты будешь, — он подумал о себе — Васильевичем...

Дома он посадил новокрещённого за стол рядом с собой, благословил трапезу:

— Ну, Павел Васильевич, кушай во славу божию...

Мальчик оглянулся. В комнате больше никого, кроме попадьи, не было.

Попадья, заметив его растерянность, подтвердила, что отец Василий обращается к нему:

— Теперь тебя по-собачьи звать не будут, — сказала она. — Теперь ты человеком стал...

Мальчик понял, что Павел Васильевич это не какой-нибудь бородастый Чемальский крестьянин, а он, внук Капшай, внук Шонкора, и ему стало обидно, что у него отобрали имя, которое он любил и которое ему казалось неотделимым от него. Что подумает о нем дедушка Шонкор? Наверное будет ругать его так же, как ругает Капшай, не даст погrogать тоишура и сам не споёт ему ни одной сказки.

Поп Василий сказал:

— Осенью отдадим тебя в школу... К свету приобщаться...

Попадья подарила ему синюю рубашку и полосатые брюки, но даже это не обрадовало мальчика. Научиться читать книги — это было заманчиво, но мальчик вспомнил, что книги не уберегли отца от злых духов — курмесов, и ужаснулся.

Он сбежал к дедушке Капшаю.

Но дедушка сказал ему:

— Русский бог сильнее всех курмесов...

Осенью старик снова привёз внука в Чемал:

— Будешь, Павел Васильевич, учишься книги читать...

И маленький Кучияк сел за парту одной из школ Алтайской духовной миссии.

На ложной тропе

Школа понравилась ему. Каждый день, проведённый в ней, походил на путешествие в неизвестном. Мальчик узнавал много нового. Оказалось, что есть на свете реки больше Катунь, что есть моря и города и что лев встречается не только в сказках, но и в самом деле, живет где-то в жарких странах. Раньше мальчику говорили: у кабарги потому белые пятна, что её обрызгали молоком, у коровы потому копыта разведены, что она хотела растоптать звезду. Теперь его поучали:

— Таковыми их господь бог сотворил.

Горы, лес, цветы— всё это выдумал „русский бог“, всё „он сотворил“.

Так юного путешественника в неизвестное толкали на неправильную тропу. Есть такие тропы высоко в горах. Они заросли полярной берёзкой. Чем дальше идёт человек по такой тропе, тем заросли всё гуще и гуще. Потом настоящая тропа незаметно свёртывает куда-то в сторону, а путнику кажется, что он всё ещё идет по ней. В действительности же перед ним— ложная тропа. Вскоре она исчезает, и человек начинает блуждать по высокогорью, ищет где бы ему спуститься в долину, и не находит ничего, кроме отвесных скал.

Маленький Кучияк шёл по такой ложной тропе. Шёл и восхищался:

— Какой хороший человек этот русский бог! И какой мастер придумывать и делать всё!..

А попы не теряли времени попусту.

— Молись.— говорили они.— Молись богу и веруй, а то сойдёшь с ума. Так же, как твой отец...

Мальчику хотелось жить долго, и он каждый день упрашивал бога сжалиться над ним и указать ему дорогу, на которой не угрожает сумасшествие. „Так,— писал он позднее,— в сердце алтайского мальчика попы разожгли сильное— до фанатизма— религиозное чувство“.

Это принесло ему немало вреда, а повлекло за собой большие ошибки в жизни.

Попы ему обещали:

— Будешь священником. Отец Павел Кучияков!..

На охоте

Много лет спустя о Кучияке говорили:

— Топшур возьмёт— певец, ружьё возьмёт— охотник!

Но охотником он был плохим.

Дедушка Капшай заботился о том, чтобы внук был хорошим

охотником, и, через два года после поступления в школу, спросил его:

— Научился книги читать? Молитвы—можешь? Ну и хватит... Он взял внука с собой на осенний промысел.

В тайге первое дело—добыть мяса, то-есть, убить дикого марала или хотя бы козла, а уже потом приниматься за промысел белки, и, по приезде в таёжную долину, где у Капшай был старый охотничий шалаш, дед с внуком отправились „добывать мясо“: дед—в одну сторону, внук—в другую.

Павлу повезло, — он свалил марала с большими ветвистыми рогами. Подходя к нему, уже убитому, он вспомнил раненого козла, который ушёл от него когда-то. Марал—живущий зверь. Соседа Кедена раненый марал поднял на рога и, едва не распоров живота, закинул на скалу, а сам убежал.

— От меня не уйдёт, — похвалился Павел и подумал, как обрадуется дедушка, когда увидит его добычу: зря старик трепал за ухо. Он—охотник да ещё такой меткий!

Но, на всякий случай, Павел решил всё же подрезать маралу жилы и обломать ноги.

— Теперь не убежит!..

И пошёл звать дедушку Капшай.

Услышав о добыче, старик обрадовался. Счастливый у него внук, — в первый день свалил марала! Это—хорошее предзнаменование: охота будет добычливой, они принесут домой тысячу беличьих шкурок, не меньше. Они заплатят долг купцу Макару, купят пороха, свинца, русской водки, сахара и кренделей...

Но, увидев у марала обломанные ноги, старик рассвирепел:

— Это что такое?! Что ты сделал?! Разве можно зверя так мучать?.. Теперь горный дух рассердится и угонит белку от нас в другую долину... Горе мне с тобой...

Несколько дней старик не разговаривал с внуком. Про себя он решил:

„Женю на девке, которая умеет жить по-русски: пусть хлеб сеют...“

Дочь трапезника

В Чемале жил знакомый трапезник, алтаец Максим Никитич, зажигал в церкви свечи, подавал кадильницы. У трапезника была дочка Анна. Она стирала бельё благочинному Бобраку и попу Василию, мыла пол в алтаре, куда замужним женщинам не позволялось заходить.

Анна уже не первое лето ходила в невестах, и родители подумывали—за кого её выдать замуж. Посватали девушку за кочевника из сеока соён—отец не отдал:

— Соёны—темные люди: в юртах живут!..

Приехал Капшай сватать Анну за своего внука, — Максим Никитич повеселел:

— Этот — крещённый: хорошо будете жить.

Сыграли свадьбу, и Анну увезли в долину Куюм, где стоял пятистенный домик Капшай.

Анна плакала: дом ей не нравился, — пол не мыт, печка не белёна. Мыло в семье не в почёте, бельё не стирается. В окно глянешь — сердце от тоски занает: кругом — лес да горы. До соседей — две три версты. Это сейчас, а к зиме они откочуют за перевал. Не слышно ни человеческого голоса, ни лая собак.

Анна сказала мужу:

— Поедем жить в деревню...

Муж не согласился. Что он будет делать в деревне? Здесь он занимается выгонкой смолы и дёгтя, продаёт крестьянам ближних сёл, обменивает на хлеб, на соль, а там чем он займётся?..

— У вас грязно, — упрекала Анна. — Я не могу жить в такой грязи.

Павел сердился на неё:

— Ты не попадья...

Анна убежала к отцу.

Максим Никитич пожурил свою дочь:

— Дерево там стоит, где выросло, баба там живёт, куда выдана.

Он отвёз Анну назад к мужу и при всех показал ей плеть:

— Живи тут... Грязь не глянется — делай всё чисто.

И стала Анна учить семью жить в чистоте.

На войне

Где-то далеко шла война. В долину Куюма доносились только глухие отзвуки деревенских разговоров. Где, как и за что люди ведут войну — Павел не знал.

В 1916 году алгайцев мобилизовали на тыловые работы.

Павел простился с домом и, вместе с другими мобилизованными, поехал в Бийск. Они остановились на этом перевале, где мы сейчас, вот у этих трёх лиственниц. Родные, провожавшие их, на ветки деревьев повесили сотни разноцветных ленточек и беличьих шкурок, а возле тропы сложили горку из камней, привезённых из долины.

Всё это — подарки духам горных вершин, чтобы они сопровождали сынов Алтая в их дальней дороге и оберегали от беды.

У костров кружились шаманы, пели свои песни, били в бубны и всё кругом обрызгивали освященной аракой.

— Большое моление было — говорит Кучияк. — Люди не жалели ничего. На ветках этих лиственниц развешались шкурки соболя. Трава была залита кровью жертвенных лошадей.

Кучияк и его родственники сидели в стороне. На него прикрикнули:

— Ты почему не молишься?... Поповский сын!..

— А мне нельзя было молиться горным духам: крещённый, — объясняет он сейчас.

Дедушка проводил его до города и потом увёл коня домой.

Поезд двинулся на запад. Кучияк целые дни проводил у открытых дверей вагона. Перед ним открывался мир необъятный и заманчивый, как чудесная книга. Он не думал, что столь велика русская земля, что украшена она десятками больших городов, и ему захотелось везде побывать и всё повидать, самому прочесть до конца эту загадочную книгу. Но им не позволяли отходить от вагонов.

Их привезли в Белорусские леса. Там они рыли окопы, строили блиндажи.

Он научился многому, узнал жизнь. Научился ценить и измерять время по часам. Раньше он, следуя обычаю стариков, пользовался иными измерителями: „пока чайник кипит“, „пока старуха трубку курит“, „пока мясо варится“. Теперь он решил, что после войны обязательно купит себе такие же часы, какие у офицера в кармашке. Офицер говорит, что их можно иметь всякому, у кого есть деньги. Кучияк продаст корову, но часы обязательно купит. И ещё он купит себе такую же книжку с чистыми листами, как у того же офицера, и будет писать в ней каждый день. А что он будет писать? Песни будет записывать, чтобы помнить и знать всегда. Ведь алтайская песня—мотылёк: не успеешь поймать—улетит и исчезнет бесследно. Вот он и будет ловить песни: какую услышит—запишет, сам сложит—тоже запишет. И через несколько лет у него будет книга, какой не было и нет ни у кого...

Через год он вернулся домой.

Жена опять сказала ему, что она не будет жить в лесу, и на этот раз, он охотно согласился с нею.

Они решили переселиться в деревню.

Чепош

Когда-то по берегу Катуня ехал алтаец в Чемал. День был жаркий, и всаднику захотелось пить, но берега у Катуня обрывистые: спуститься к воде трудно. Одну трубку выкурил по дороге, другую, а напиться всё негде. Но вот на его пути легла маленькая серебряная речка. Вода холодная и вкусная, как в ручье возле вечных снегов.

На другой день алтаец поехал из Чемала домой. И опять захотел пить. И опять ему было лень спуститься к Катуня. Ждал

речку с холодной и вкусной водой. Подъехал к знакомому месту, а речки уже нет,—высохла вся до капли.

— Че — пош! (Вот те на!)—удивился алтаец.

Через некоторое время на этом месте поселились русские и первые крещённые алтайцы. Деревню стали звать—Вот те на (Чепош).

Павел с женой поселились в Чепоше. Они срубили избу на краю деревни, посадили огород. Они хотели быть иными людьми, чем были раньше, но их жизнь того времени могла бы служить ярким подтверждением цепкой силы привычек, приобретённых с детства, как бы всосанных с молоком матери. Прошло два года со дня их свадьбы, а они все ещё ни разу не называли друг друга по имени: стыдились нарушать этот дикий и непонятный обычай древности. Приготовив обед, Анна Максимовна, обычно просила сестру мужа, которая жила с ними:

— Позови того человека...

А Павел обращался к жене крикливо:

— Эй, ты!.. Женщина!

Под высоким берегом плескалась бурная Катунь. Во время ветра шумел сосновый бор, подступивший к самым огородам. По утрам, заглушая ление петухов, на скалах кричали кураны — горные козлы. Будто это совсем не деревня, а далёкая лесная долина. Но Кучияку в то время Чепош казался большим и шумным, как город. Жизнь в деревне — „на людях“ — угнетала его, и он стал говорить жене:

— Тяжело здесь жить: шуму много, даже голова болит...

Анна Максимовна уговаривала мужа, хвалила деревню, но он настаивал на своём. Через год они продали избу и уехали в долину Верхний Чепош, где в то время жили одни кочевники.

Через двадцать лет Кучияк написал стихи, в которых говорилось о Чепоше того времени:

Прежде мне всё здесь знакомым было,
Тогда ты печальным был и унылым,
Птицей израненной и бескрылой
Народы твои были с давних пор.
Бывало, как тьма наступает ночная,
Церковный колокол запевает,
И звон колокольный, как яд, проникает
В темную грудь окружающих гор.
И шли, словно пленники, тропкою горной,
Словно преступники — зло и покорно,
В жалкой одежде, не пав на колени,
Люди беззвучно шептали моления.

И, хотя в то время Кучияк сам шептал молитвы, не чувство благоговения, а чувство бесправия и печали переполняло его душу.

Он был пленником. И не знал, когда вырвется из этого плена.

Чёрные дни

Он не любил вспоминать о том времени, — стыдился своих ошибок.

В конце 1919 года большая часть Алтая была освобождена от колчаковцев партизанскими отрядами. Но белогвардейцам с помощью боев, путём обмана, удалось привлечь на свою сторону часть кочевого населения, не умевшего в то время разбираться в политических событиях. В руках белогвардейцев всё ещё находился Чуйский тракт, по которому они отступали в Монголию. Они забирали в окрестных долинах всех лошадей, насильно вербовали население в свои отряды, сначала Кучияк попал в обоз.

Позднее он писал об этом:

„Куюмская сельская управа назначила меня обозником к отступающим белым отрядам. С половины пути в Монголию шёл уже, как рядовой — с винтовкой. В апреле 1920 года в Кош-Агаче сдался частям Красной Армии. В Онгуде познакомился Константин Соколов вёл среди нас агитацию: „Вы попали в руки антихристов...“ А дома братья отца заставили меня, вместе с ними, уйти в горы и скрываться в течение многих месяцев...“

Эти дни Кучияк считал чёрными днями своей жизни и в течение двух десятилетий своей преданностью великому делу нашей родины, своей общественной деятельностью и вдохновенным словом поэта-агитатора старался искупить свою вину. Он, певец новой Ойротии, безусловно, искупил её.

Работая над повестью „Аза-Ялан“, Кучияк вспоминал своё прошлое: в образе пастуха Керек-Йок есть черты автора. Обманутый баем, бежавшим в Монголию, Керек-Йок с оружием в руках охранял его табуны и даже вступил в перестрелку с партизанами. Руководимые высокими целями братства трудового народа, партизаны, к удивлению Керек-Йока, „приветливо обращались“ с ним.

Керек-Йок долго не понимал, почему эти люди считают его своим, почему они простили ему его выстрел. Он внимательно вслушивается в каждое слово. Ему хотелось понять, что объединяет их — алтайцев и русских, — что заставило их бросить дома и семьи, уйти в горы, где каждый камень угрожал смертью.

Когда он понял это, он выступил против баев, организовал колхоз, стал активным строителем социалистического общества.

Это — путь, которым шёл сам Павел Кучияк.

Враги новой жизни не раз напоминали ему о его чёрных днях и, в своих пакостных целях, всюду говорили об ошибках его молодости и пытались снова привлечь его, теперь человека широко известного, на свою сторону. Он отвечал им, как боец, сильными ударами своих рассказов, в которых разоблачал подрывную деятельность баев, бывших бандитов, буржуазных националистов, пробравшихся в колхозы. В областной газете он писал:

„Моё перо, моя жизнь, мой талант принадлежат партии и правительству... Я буду работать так, что каждое моё слово будет беспощадно разить врагов народа — буржуазных националистов.“

Это звучало как клятва. И он с честью выполнял её на протяжении всего своего писательского пути.

Старая изба

Мы отклонились от нашего маршрута, чтобы взглянуть на то место, где жил Кучияк в 1922—1925 гг. На лужайке, заросшей розовым кипреем, возле быстрой и светлой речки мы увидели серую от времени, полусгнившую избу. Она была в рост человека. В низкие, маленькие отверстия пустых окон, как в глазницы забытого черепа, проросла трава. Одна половина крыши была давно сброшена ветром, другая осталась на месте. Оттуда, тревожно посвистывая, вырывались ласточки, и мы слышали слабый писк птенцов. Кучияк обрадовался.

— Ласточки все ещё живут в моей избе: хорошо мне будет!

Я вспомнил старое алтайское поверье: пока ласточки живут у дымохода, семейный очаг не будет покинут счастьем.

Ласточка дружила с первыми людьми, — она приносила из огня из-под земли. Когда летала за ним к грозному Эрлику, опалила себе перья. Эрлик увидел, что она украдала у него из очага самую хорошую искру, выбежал из своей чугунной юрты и погнался за нею. Но, хотя он и бог, а ласточки догнать не мог, рассвирепел и бросил в неё свой медный топор. Ласточка летела очень быстро, и топор, едва настигнув её, лишь вышиб из хвоста средние перья.

— С тех пор, — сказал Кучияк с озорной улыбкой в глазах, — у ласточки хвост вилкой. А у людей с тех пор в юртах горит огонь. И гасить его нельзя: кочевать будешь, угли с собой бери.

Возле избы — ровная поляна, расчищенная от камней. Тут у Кучияка был огород. Он и его жена первыми в этой долине стали выращивать картошку, огурцы, морковь. Они сеяли не только ячмень для толкана, но и пшеницу: Анна Максимовна уже тог-

да умела стряпать хлеб. Она учила этому искусству своих соседей.

Было раннее утро, и мы, чтобы не терять дня, не стали расседлывать лошадей и после нескольких минут, проведенных у старой избы поехали в сторону хребта. Кучияк почти ничего не успел рассказать о том, как он жил в этой избе, какие книги читал, как из религиозного фанатика стал артистом и куда девал иконы, подаренные попом Василием и дедушкой Капшаем. Мы знали только, что в 1923—1924 г. он работал секретарём комитета бедноты, а следующие два года был членом президиума сельсовета.

Эти переломные годы в жизни будущего поэта остаются почти неизвестными, а между тем, они представляют большой интерес: в это время Кучияк формировался, как советский человек и будущий общественный деятель.

Осенью 1925 года к Кучияку приехал один из работников Облисполкома и сказал, что его решено отправить в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока.

— На четыре года?! — удивился Кучияк. — А как же семья? Ведь у меня трое детей.

— Будем помогать, — заверил областной работник.

Анна Максимовна не заплакала, не воспротивилась этому.

В доме её отца не раз останавливались учёные, исследователи Алтая, и она, услышав, что её муж тоже будет учёным, обрадовалась:

— Поезжай, — сказала она. — А мы тут проживём...

И только потом, когда уже всё было решено, смущённо спросила:

— Ты не бросишь нас, когда выучишься? Нет? Я ведь тоже немножко учёная, — книжки читать могу: тебе со мной не будет стыдно ни в деревне, ни в городе...

Павел Васильевич крепко пожал руку жены и впервые назвал её по имени:

— Не думай плохое, Нюра...

Запевка

Вуз открыл Кучияку глаза на многое. Теперь он по-настоящему глубоко понял мир, законы развития общества. Он узнал, что все материальные и духовные ценности на земле созданы людьми труда. Бывая на литературных вечерах и в театрах столицы, он чувствовал себя путником, утоляющим жажду из чудесного, только-что открытого им рудника русского искусства.

Позднее он писал о вечной любви к искусству:

Я навеки покорён тобой,
К тебе, как все, стремлюсь я сердцем тоже.
Мы связаны теперь одной судьбой
И жизнь свою разъединить не сможем.

На его родном Алтае в то время не было письменной художественной литературы, если не считать нескольких нравоучительных басен, написанных в конце прошлого столетия священником Михаилом Чевалковым. В народе были широко распространены лишь одни устные произведения: сказки, былины, песни.

Кучияк начал свою литературную деятельность с поэмы. Он шёл от народной песни, от былины.

Первыми слушателями молодого поэта были его товарищи по университету. Поэма волновала их: в ней рассказывалось о том, чем жил Алтай в то время, — о борьбе за достоинство женщины, за её равноправие в обыденной жизни, за её участие в разрешении общественных и государственных дел. Девушка Арбачи была насильно, в порядке уплаты задолжности, отдана отцом замуж за шестилетнего байского сына. Бай Дябы рассуждал:

Будет работать бесплатно она,
А сын возмужает, пусть сам решает,
Какая нужна ему будет жена.

Свекор и свекровь заставляли сноху выполнять самую тяжёлую работу и за каждое малейшее ослушание истязали её.

На работе тяжёлой растрочены силы,
Юность, радость, весёлость сгорели дотла.

Той порой подрос муж, стал настоящим женихом и взял себе молодую жену, а Арбачи — „кость обглоданную, пустую — спровадил обратно в аил отца“. Отец с матерью прогнали дочь назад, на байское стойбище. Арбачи попыталась найти защиту у зайсана, но родовой старшина пригрозил ей плетью.

Началась гражданская война. Арбачи услышала имя Ленина:

Ленин — радость рабочим, крестьянам,
Ленин — счастье забитым рабам.
Ленин — знамя, восстание, борьба.
Ленин — смерть кулакам и зайсанам.
Ленин — смелый защитник бедных.
Ленин — самый большой большевик.
Ленин — мудр, Ленин прост и велик,
Ленин нас приведёт к победе.

Арбачи с отцовской винтовкой в руках пошла в партизанский отряд, „смело шагала по вражьему следу“, расплатилась за слёзы и обиды и „помогла победе“. Когда отшумели военные годы, она „в лучшей шапке, в лучшем чегедеке, как на праздник“,

приехала в Улалу на „съезд победителей, съезд свободных, беднейших алтайцев съезд“.

Прослушав поэму, товарищи по университету посоветовали автору послать её в Улалу, в областной отдел народного образования. Он так и сделал, думал, что к его приезду на летние каникулы 1928 года поэма будет издана. Но летом, вернувшись в свой областной город, он узнал, что его рукопись потеряна.

Спустя четыре года Кучияк снова написал эту поэму. Она издана, и мы везём её с собой. Автор читает её на колхозных собраниях и в сенокосных бригадах. Всюду поэму слушают внимательно, а потом начинают вспоминать девушек, судьба которых была похожей на судьбу Арбачи.

— Тяжела была жизнь, — говорила пожилая алтайка в одном колхозе. — Вот так же тяжела, как жизнь Арбачи. Теперь люди стали уже забывать о той жизни, а в книжке прочитают — всё вспомнят.

— Я жила у бая в батрачках, — вспоминала доярка в другом колхозе. — Как Арбачи девочкой посла овец. Снег упадёт, а я босиком хожу за отарой...

Арбачи была близка к сердцу слушателей потому, что Кучияк правильно показал тяжёлую, бесправную долю дочери бедняка до революции и столь же верно наметил её путь при власти Советов.

„Арбачи“, первая поэма в алтайской литературе, была для Кучияка хорошей звездой.

Кочевой агитатор

В Коммунистическом университете трудящихся Востока Павел Кучияк учился четыре года. После возвращения в родные края он был назначен руководителем красной юрты-передвижки. У него был небольшой отряд культурных работников, специалистов: учитель, агроном, врач и киномеханик. О работе отряда и о деятельности самого Кучияка писал С. Кожевников в статье „Первые страницы алтайской литературы“.

„Они ездили по самым отсталым аймакам, делали прививки, организовывали колхозы и читали доклады: о гигиене и земледелии, о методах социалистического труда и советском праве. Отряд показывал фильмы, учреждал пункты ликбеза, боролся с суевериями, родильной горячкой и байской агитацией.“

Юртой-передвижкой Павел Кучияк руководил два года. Это была тяжелая работа, но она была прекрасна. Иногда Павлу казалось, что для такой жизни мало одного сердца. На его глазах алтайцы переходили из кочевых и бедных айлов в новые дома и избы, женщины снимали чегедеки, люди впервые в жизни стали

мыть лица, бани и зайсаны изгонялись из советов и кооперации. Земля становилась своей!"

Это не всё. На глазах Павла Кучияк строились новые школы и маслозаводы, распахивались целинные земли и строились скотные дворы. Вчерашние кочевники, с помощью русских колхозников, овладевали основами земледелия и прокладывали новые дороги. С участием Кучияка местные организации ликвидировали баев, как класс. В его присутствии шаманы сжигали свои бубны и шубы, обвешанные ленточками и колокольчиками. Преображалась вся жизнь!

В эти годы Кучияк узнал все дороги, все тропы Алтая. Вот и сейчас мы едем в далёкий пограничный Улаганский аймак по тропе, по которой когда-то шёл караван Кучияка с передвижной юртой, с киноаппаратом и книгами, с учебными пособиями и медицинскими препаратами.

Высоко в горах

По долине Куюма, заросшей густым кедровым лесом, мы поднялись на хребет Иолго. По одну сторону его реки текли в Катунь, по другую в Бию. Справа возвышалась голая макушка Адыгана. Впереди, далеко на горизонте синели шпиль с серебристыми полосами вечного льда.

— Самая высокая гора—Чолмон,—говорил Кучияк, указывая вперёд черенком плётки.—С её вершины подымается в небо утренняя звезда—Венера, вот и назвали: Чолмон! А вон там,—он повернулся лицом к востоку,—гора Уженю. Все шаманы молились ей. Сколько лошадей принесли в жертву духу этой горы! На её вершине—три двери. Через эти двери шаманы проникали в подземелье, к злому богу Эрлику. Так они обманывали народ.

— По эту сторону горы,—продолжал он,—есть озеро. Туда маралы ходят пить голубую, как небо, воду. Там есть болото, на котором растёт трава, похожая на осоку. Марал немножко этой травы кушает и сразу побежит жену себе искать. Охотнику, если жены близко нет, эту траву нельзя пробовать.

Мы ехали по хребту несколько дней. Иногда нас окружали приземистые, изломанные холодными ветрами кедры. Иногда наши лошади брели по густым зарослям полярной берёзки. Иногда под копытами их хрустел ослепительно белый снег. У Кучияка заранее были определены места дневных и ночных стоянок: он знал, где хорошие—без ядовитой травы—корон, полянки для пастьбы лошадей, где в избытке сухой валёжник для костра, где есть пещёра, в которой можно укрыться от грозы. Знал также, где добыть мясо на обед: в одном месте мы стреляли горных индеек, в другом каменных куропадок, в третьем—рябчи-

ков и глухарей. в четвёртом — на худой конец — горластых кедровок. И каждый выстрел нам приносил не только птицу, но и какой-нибудь заманчивый рассказ нашего вожака.

— Вы знаете почему у глухаря брови красные? — спросил нас Кучияк, когда была убита первая большая зеленогрудая лесная птица — Давно-давно он был человеком. Но худым человеком: — соседей своих бил. Бог рассердился на него и сделал его птицей. Большой-большой птицей — с быка величиной. Но глухарь не унимался, маленьких птичек шибко обижал. Тогда бог взял и убавил у него мяса. У глухаря убавил, а другим прибавил: курице, рябчику, тетерке. Видали у тетерки, у рябчика полоски белого мяса? Это — глухариния добавки. Птицы стали больше ростом, обрадовались, а глухарь с горя стал плакать. От слез у него глаза покраснели...

Потом мы узнали, что и медведь когда-то был человеком и что многие горы — уснувшие богатыри.

Мы спускались в долины, вброд переезжали реки и снова подымались на хребет. Нас окружили высокие вершины, терявшиеся в облаках, и Кучияк разговаривал с ними, как с живыми, спрашивал, где прошёл медведь, из каких озёр лоси пьют воду по ночам и какая погода ждёт нас завтра. Он всматривался в тропу, на которой едва были заметны какие-то царапинки, и говорил нам, куда какой зверь пошёл, какая птица пробежала.

Он знал весь свой огромный край, и его можно было назвать живой энциклопедией Алтая.

Однажды зимней ночью мы втроём стояли на берегу Катуня, у большой заводи. Вода была прозрачная, редкость спокойная, и по реке тихо — от камня к камню — плыли крупные яркие звёзды. Мы стояли молча, пока под нашими ногами не появилось созвездие Ориона. Увидев знакомые звёзды, Кучияк заговорил с лукавой восторженностью:

— Три маралухи вышли. Собака к ним бежит. Видите, останавливает? А вон сам охотник показывается. Сейчас выстрелит. Вот, вот... Промаях Видите, куда пуля ушла? Вон-вон красненькая...

Потом он повернулся к нам и заговорил с глубокой убеждённостью:

— Умные были наши старики, — умели показать силу и мудрость человека. Он — хозяин всюду и всему. Он всё умеет делать, всё побеждать. Надо — на небо зайдёт. Все трудности — под его ногами. Вот он какой!

Наш спутник, писатель из Москвы, посоветовал Кучияку:

— Надо показать стариков в книгах, мудрость их передать нашим детям, сохранить для внуков...

Я знал, что Кучияк думает о сказках и былинах Сокола, и ждал их.

Мастер

Зимой он приехал в Новосибирск и привёз полный чемодан рукописей. Это были сказки и былины дедушки Шонкора, умершего в 1913 году. Внук по памяти записал и сделал подстрочный перевод на русский язык. Вскоре одна за другой появились книги „Алтайские сказки“ и „Темир-Санаа“. В оглавлениях этих книг было указано: „Сказитель Шонкор Шунеков“, „Записано от Баргаа Кучияковой“ и т. д. Но это не точно. Точнее было бы сказать:

„Записано П. В. Кучияком от сказителя П. В. Кучияка“. Ведь он был не только собирателем фольклора, но и его исполнителем. Он был достойным преемником и продолжателем Сокола.

Известно, что каждый сказитель вносит в исполняемое им народное произведение что-то своё, одни эпизоды опускает, другие добавляет, одно описание обрывает на половине, другое делает ярче, красочнее, вкладывает в уста героя какие-то новые слова и все события освещает каким-то новым светом. И чем талантливее сказитель, тем ярче заря этого нового света. Кучияк был весьма одарённым сказителем, и старые народные произведения в его исполнении вставали перед читателями или слушателями, как бы озарёнными новым светом утреннего солнца.

В 1937 году на Алтай приехала московская фольклористка Анна Гарф. Вместе с нею Кучияк отправился в новую большую поездку, на этот раз по сбору народных сказок. Добрая людская молва привела их на одну отдалённую колхозную ферму, расположенную в верховьях Сары-Кокши. Там они увидели слепого старика, который сидел под вековым кедром и плёл ременные узды. Вокруг старика, на мягкой зелёной траве лежали дети и слушали его сказки. Это был известный на Алтае сказитель Николай Улагашевич Улагашев. Кучияк записал от него несколько сказок. Анна Гарф помогла ему перевести их на русский язык. Об Улагашеве узнали в Москве, и он был принят в члены Союза советских писателей и одновременно с другими выдающимися сказителями нашей страны награждён орденом „Знак Почёта“.

Вскоре старик переехал в город. Кучияк стал его частым гостем. Он приходил к нему с толстой тетрадью и садился записывать былины. Но в отличие от других сказителей, старик пел быстро и записать текст за ним было почти невозможно, тем более, что он не любил, когда его останавливали и переспрашивали. Кучияк записывал только содержание, а иногда, заслушавшись, совсем забывал о карандаше. Позднее дома воспроизводит всю былинку, шёл к сказителю и читал. Улагашев слушал, где было нужно, там вносил поправки. Так было записано семь былин.

Все они вошли в книгу Н. Улагашева „Алтай Бучан“ и „Малчы Мерген“, изданные на алтайском и русском языках.

Работа Кучияка в области фольклора огромна и заслуги его весьма значительны. Он первый познакомил русского читателя с героическим эпосом скотоводов и охотников Алтая. Он открыл перед нами богатейшую сокровищницу народной мудрости. И, если бы сам он даже и не писал ни одной строчки, имя его и при этом осталось бы навсегда в истории развития культуры народов Алтая.

Никто на Алтае не знал и не помнил так глубоко героического эпоса, как внук Сокола. Многие приходили к Улагашеву записывать былины, но чаще всего уносили домой чистые тетради.

— Не мастер, — говорил старик очередному неудачнику. — Вот был Кучияк — это мастер!

Да, Павел Васильевич был большим знатоком старины и большим мастером новой, социалистической культуры.

Превращение в богатыря

Недалеко от Чемала, на левом берегу Катуня, в посёлке Аюла жил сказитель Даабы Юдаков, приятель Кучияка. Даабы родился и вырос в тёмной юрте, куда свет проникает только через тесное дымовое отверстие. Когда организовался колхоз в посёлке стали строить избы. Чемальская гидростанция перекинула через реку свои провода, и в избах аюлинцев загорелась лампочка Ильича: занялась заря новой жизни.

Павел Кучияк приехал в гости к Даабы Юдакову, и они решили сложить новую былинку, былинку о золотой заре. Юдаков взял топшур и ударил по струнам, Кучияк подсказал первые строчки о бедном охотнике Анчи, который, кроме своей семьи, должен был кормить „доотвала“ богатого бая, свирепого зяисана и жадного шамана. Топшур перешёл в руки Павла. Даабы подсказывал ему: зайсан и шаман забрали у бедного охотника последнюю лошадь, последнюю корову, в неурожайную на зверя зиму дети охотника умерли от голода, а жену его взял за долги „люгын волк Тордун-бай“. Анчи понял, что врут богатые люди, „боги врут“, и пошёл по свету, чтобы узнать „есть ли сила такая на свете на белом, чтобы зайсан перед нею стоял онемелым, не найдётся ли мудрость такая — и в ком, — чтобы хан оказался перед ней дураком“.

Топшур переходил из рук в руки, певец сменял певца.

Кучияк и Юдаков вместе подбирали слова:

Шесть раз Анчи обошёл весь Алтай....*

И увидел Анчи: богатырь перед ним

* Здесь „Алтай“ — синоним слова „Земля“

Средь бескрайних просторов, народов обильных,
Землю всю сотрясающий словом одним,
Видом — добрый из добрых и сильный из сильных!..
...В его правой руке большой солнечный луч,
В левой — лунный. Он добр и могуч.

Могучий богатырь спросил маленького Анчи:

Ты откуда явился сюда, человек,
Дни и ночи проводивший в печали?

Охотник ответил, что желудок его пуст, что ему нечем покрыть свои плечи: всю добычу его расклевали чёрные вороны — бай, зайсан и шаман. Теперь ищет Анчи новый путь в долину, где бы он мог жить и трудиться. И богатырь с огненным ликом сказал ему:

Знай, Анчи: от моих громоносных ударов
Ныне пала навеки зайсанская власть.
Обеззублена у богачей -- у байларов
Их ненасытная пасть.
Ваше всё то, что было доселе згйсаново.
Бедняки, стройте жизнь свою заново.
Дружной братской семьёй общий подвиг творя!

Народ, окружающий богатыря, сказал охотнику, что перед ним — „сын родного народа“ „безмерно могучий“, великий Ленин. И тогда охотник увидел, что

С солнцем рядом, над высями гор
Появилось солнце второе.
Пролилися живые, двойные лучи
На смертельно усталое тело Анчи,
И почувствовал он: жизнь к нему возвращается,
И он сам от двух солнц теплоту их беря,
Наливается силою и превращается
В молодого алтайского богатыря!

Этой новой былинной, переведённой на русский язык, была открыта книга „Творчество народов СССР“, изданная „Правдой“.

К теме второго солища Павел Кучияк не раз обращался в своих стихах. Так, описав бои красных партизан с белогвардейцами на скалах одного непреступно-дикого ущелья, он заканчивает стихотворением „Аркыт“:

На высотах Аркыта победно горит
Знамя алое — Ленина знамя.
Это солнце второе с вершины горы
Всё залило косыми лучами.
Средь долины, на горах потеплело вдвойне,

Посветлело вдвойне на Алтае,
И так хочется петь о родной стороне,
О житье без постылого бая.
Разливаются густо как летом кумыс,
Песни новые. Ими прославлен
На Аркыте, кто путь указал в коммунизм, —
Это партия, Ленин и Сталин.

С помощью новых богатырей люди труда приобрели богатырскую силу. Кучияк всю жизнь писал о борьбе за эту силу и о славных деяниях народа.

Он рассказывал о гражданской войне и о борьбе с предрассудками, о зарождении первых колхозов в горах Алтая и о постройке гидростанции на Чемале, о новом Чуйском тракте и о шоферах, которые водят по Алтаю своих „железных коней“. Он пел о счастье народа, о солнце новой жизни.

Он сам был тем охотником, которому богатыри нашего времени указали путь в жизни и помогли взойти на вершину современной культуры.

Здравствуй, Чепош!

В Чепоше, на высоком берегу Катунь, жил тесть Кучияка. Однажды, возвращаясь из дальней поездки, мы по горной тропе спустились к Катунь и решили заехать ночевать в Чепош. Павел Васильевич, подъезжая к селу, вскинул руку для приветствия:
— Здравствуй, новый Чепош!..

На следующее утро он ходил по селу, вспоминал прежнее, радовался новому, и в голове его строчка за строчкой слагалось стихотворение „Чепош“:

Как расцвела твоя молодёжь!
Каждый на алый цветок похож,
Все, словно дети, отцом хранимы.
К знанию, науке, как к солнцу идут
И к коммунизму дорогу ведут —
Вот, что я вижу в тебе, родимый!
Сердцем приветствую, новый Чепош!
Счастьем народным цвети, Чепош!

Под обрывом шумела Катунь. Кучияк помнил, как в дни его молодости шаманы пугали народ „грозной силой“ этой реки. Теперь Кучияк увидел её пристраившей — над её волнистой спиной большевики перекинули длинный, безумолку — гремющий мост. И тяжёлая волна теперь звенела, выговаривая иное:

Много сил есть у меня,
Все огдам я их-человску.

Простой пастух, „что был нуждой томим“, стал хозяином всего. Теперь и камни пели от радости,—они стали друзьями человеку.

Ороктойский радужный мрамор
С песнями прямо в Москву приезжает:
— В стране Советов лучший самый
Дворец я украшу!—он восклицает.

Когда-то земля давила камень, и он не мог любоваться лучами солнца. Камень стонал от печали. Теперь камень „на свободе“ радуется лучам солнца и песней славит человека-творца.

Принесли в страну камней, тайги
Радость вечную большевики.

Коротая зиму в холодных юртах из лиственничной коры, кочевники тосковали по весне, по ласковому солнышку. Кучияк испытал это и едва ли не самые взволнованные строки он посвятил весне:

И весна по горам Алтая
Шла, цветами их украшая.
Звери, птицы, леса и гравы
Воздавали ей громко славу...

Эта была весна новой жизни.

Время светлое нам досталось—
Жизнь раскрылась с весною вместе!
Сотню лет человеку мало—
Он хотел бы прожить и двести.
Для того, кто счастлив глубоко,
Будет мало и этого срока!..

Старый человек песней объясняет юноше:

Незакатного солнца блики
Подарил нам Ленин великий,
И бессменными весны стали,
Что принёс нам великий Сталин.

Кучияк пел о вечной радости людей нового общества, о втором солнце—знамени Ленина, о колхозном пастухе, который шагает „по травам, словно к новым вершинам счастья“. Поэт в стихах вспомнил Золотое озеро и видел на его берегах будущие „звёзды лампы Ильичёвой“, видел свет во всех окрестных деревнях.

Теперь его стихи были совсем иными, чем в первые годы: он всё дальше и дальше отходил от традиционных форм фольклора и, приобретая поэтическую самостоятельность, впитывая

в себя всё лучшее из русской поэзии. Говоря о себе, он отмечал, что в литературу его ввело устное народное творчество, а на ноги поставили бессмертные образцы русских классиков.

Открытие прозы

Художественная проза не была известна алтайцам, и будущий беллетрист Павел Кучияк не имел на родном языке образцов, которым он мог бы следовать, на которых он мог бы учиться. Он учился у русских классиков. Первыми повестями, прочитанными им, были „Станционный смотритель“ и „Капитанская дочка“ А. С. Пушкина. За Пушкиным — М. Горький. Из современников — Н. Островский, А. Фадеев, М. Шолохов.

Культурное влияние шло с запада и севера, от передового русского народа, из Москвы, из Новосибирска и других больших городов, из смежных русских сёл. В юности Кучияк учился у русских строить избы и пахать землю. Русские люди дали ему грамоту, учили в Москве. Русские писатели помогли ему открыть прозу для алтайского народа.

В 1933 году Павел Кучияк написал рассказ „Железный конь“. Это — рассказ о шоферах, первых представителях рабочего класса среди бывших кочевников.

Молодые парни, выросшие в юртах, приехали в новый рабочий посёлок Иня и там, с помощью русских преподавателей, инженеров и шоферов, стали изучать машины, приобретать навыки управления ими.

Павел Кучияк переводил на алтайский язык лучшие произведения М. Горького, Н. Островского, А. Фадеева и других выдающихся мастеров художественного слова. Это обогатило алтайский народ. Это обогатило и самого Кучияка. Его рассказы о колхозной жизни „Гойчи“, „Ямы“ и, особенно повесть „Аза-Ялан“ гораздо выше, художественно совершеннее, чем его первый рассказ.

Создавая образы русских людей, Кучияк подчеркнул передовую, воспитательную роль русского народа. Плотник Андрей Куреев защищает батрака Кара от бая, помогает ему понять, что бай классовый враг трудящихся. Вступив в Красную Армию, они борются с бандой бая Козуйта и купца Пескова, и алтаец Кара слагает песню о своём русском друге:

Милый друг мой Андрей
В моём сердце любимым живёт.

Кара считает русского плотника Андрея не только своим другом, но и родным братом.

Русские шофера оказывают дружескую помощь первому шоферу-алтайцу Кичемкею Сондопосову, попавшему в затрудни-

тельное положение. Между Кичемкеем и русской девушкой Нюсей Чистяковой возникает душевная дружба, которая где-то за рамками рассказа, — читатель не сомневается в этом, — перерастает в большую, вечную любовь мужа и жены.

Алтаец Керек-Йок и русский Василий Зырянов батрачат у бая Кудай-Бергена. Они становятся друзьями на всю жизнь. Председатель первого колхоза Керек-Йок приезжает в гости к председателю аймакисполкома Зырянову. Зырянов помогает ему налаживать коллективное хозяйство, строить селение, вести борьбу с баями, ликвидировать неграмотность. Зырянов знает по имени всех колхозников долины Аза-Ялан и даже после переезда на работу в областной город не порывает приятельской связи с ними.

В рассказе „Тойчи“ председатель аймакисполкома Никандр Иванович Кудрин приезжает на свадьбу лучшего пастуха Шонкора с девушкой Эркелей. Кудрина в колхозе знают все и даже старая Тойчи, мать невесты, обращается к нему, как к своему давнему приятелю: „Товарищ Кандр“.

Любимый образ Кучияка — молодой пастух, весёлый песенник, человек идеальной чистоты и прямоты, богатырски энергичный строитель новой жизни. Кара из пьесы „Чейнеш“, Керек-Йок из повести „Аза-Ялан“, Шонкор из рассказа „Тойчи“ и Темир из рассказа „Ямы“ — все они как бы родные братья, люди одного и того же дела. Основное различие между ними состоит, главным образом в том, что они действуют на разных этапах борьбы за новую жизнь, за счастье трудящихся, Кара борется за власть, Керек-Йок организует первое товарищество и берёт для него землю, когда-то отнятую у бедняков баями, Темир противостоит буржуазным националистам, пробравшимся в колхоз и в некоторые учреждения, и пытавшимся вести подрывную деятельность, Шонкор олицетворяет собою полное торжество колхозного строя, новой жизни. Родившийся и выросший в дымной юрте, он в колхозе получает новый пятистенный дом. В доме — мягкая мебель, столы, цветы, тюлевые шторы на окнах.

Чиста и светла любовь героев Кучияка к своим девушкам, невестам и жёнам. И основной предпосылкой к этому является новый советский строй, в корне изменивший положение женщины. Если в старое время девушку не считали за человека и ещё в детском возрасте продавали в замужество за малолетних байских сыновей („Арбачи“), если прежде бай своими гнусными приставаниями доводили девушек до самоубийства („Смерть Яна-ра“), то теперь девушки Алтая уже противостоят пережиткам прошлого и сами решают свою судьбу. Так Чейнеш уходит от ненавистного ей байского сына Яжная, которому она была продана её родителями-бедняками, становится председателем сель-

ревкома и выходит замуж за своего возлюбленного Кара. Так комсомолка Тойу помогает своему другу Темиру разоблачать буржуазных националистов, врагов колхозного строя. Так Эркелей, не взирая на противодействие матери, много лет назад просватавшей её за богатого, становится женой пастуха Шоннора. Их любовь чиста, как небо в солнечный летний день, и крепка и светла, как мрамор. В ней — счастье, принесённое родниками новой жизни.

Кучияк любит своих молодых героев, пастухов и пастушек. Об этом свидетельствуют даже имена положительных героев, юношей и девушек: Шоякор — сокол, Темир — железо, Бичик — грамота, Кожончи — песенница, Чейнеш — цветок (горный пион), Эркелей — миленькая, Солонь — радуга.

Кучияк с детства ненавидел баев и шаманов. Ребёнком он говорил своему отцу, робкому человеку, что, когда вырастет большим, не будет бояться богатых. На всю жизнь он запомнил злые проделки байского сына Манзы и в последний раз своей жизни написал о нём в главах своего автобиографического романа.

Уже одни имена баев и шаманов в произведениях Кучияка выражают ненависть и презрение автора: Чичкан — мышь, Кускунек — ворон.

Как это и в жизни было, шаманы в произведениях Павла Кучияка всегда выступают услужливыми помощниками баев и зайсанов. Шаман Берегош, подлый человек, во всём помогает баю Козуйту, Айду — Кудай-Бергену. Чтобы запугать бедняков и держать их в повиновении, шаман говорит, что баю Кудай-Берген покровительствует сам добрый бог Ульгень, недаром дескать, бай носит имя — „богом данный“.

Но никакие ухищрения не помогли: народ понял смысл всех проделок баев и шаманов и, объединившись вокруг партии большевиков, повёл решительный натиск. Бай были ликвидированы, как класс. Шаманские бубны навсегда умолкли. Народ создал колхозы, вышел на широкий путь новой жизни.

Открыв прозу своего народа, Павел Кучияк в рассказах и повестях показал борьбу с баями, шаманами и буржуазными националистами, дал яркие картины торжества колхозного строя.

В театре

Велика роль Кучияка в создании Ойротского национального театра. Он заведывал в театре литературной частью и в то же время, был его первым актёром. На подмостках этого театра были

поставлены пьесы П. Кучияк: „Борьба“, „Петля“, „Ямы“, „Чейнеш“, „Работа белых“, „Враги в капкане“.

Особым успехом пользовалась пьеса „Чейнеш“. Павел Васильевич исполнял в этом выдающемся спектакле Ойротского театра роль бая Козуйта и роль кайчи (сказителя). С этой пьесой театр совершил большое турне по городам Сибири и Казахстана.

У сказителя Н. Улагашева была любимая сказка „Уч-кыс“ („Три девицы“). П. Кучияк записал эту сказку и на её основе создал феерическую пьесу, в которой участвовали, кроме трех девиц, богатыри, семиглавый людоед Дельбеген, добрая бобриха и старый волшебник. В пьесе были оживающие деревья, цветы, грибы и другие „жители лесов“. В этом спектакле, также пользовавшимся большим успехом, Павел Васильевич исполнял роль кайчи, под песню которого поднимался занавес.

В годы войны Павел Васильевич заменил на сцене многих молодых актёров, ушедших на фронт. Так он, по словам художественного руководителя театра И. С. Забродина, блестяще сыграл роль Дельбегена в той же пьесе „Уч-Кыс“ и, не менее успешно — роль Сюмелю в своей пьесе „Оролор“ („Ямы“).

Кучияк любил богатырский эпос и много раз рассказывал мне о своём намерении показать богатырей на сцене. Особенно его интересовали те народные произведения, в которых повествовалось о богатырях, защищавших землю своего народа от посягательства иноземных захватчиков. Но эта тема была для него сложной, трудной и он долго не брался за неё. Только весной 1943 года, за три месяца до смерти, он начал писать эту свою последнюю пьесу. Она осталась незаконченной, но первый вариант её был автором прочитан на заседании художественного совета театра. После заседания он записал в своем дневнике:

„Многие не понимают моего героя и боятся: „Было ли так в жизни?“ По моему мнению, если в истории и не всё было так, как я написал, то в сознании бедного народа жила мечта о равноправии, о вольной жизни. Об этом нам говорят наши народные сказки.“

Перо и штык

Любимой былинной Павла Васильевича была „Алтын-Тууди“. В былинке рассказывалось о войне в далёком прошлом. На страну напали враги, стали грабить становья, захватывать земли, пленить народ. Для борьбы с захватчиками созывалось войско.

Каждая семья должна была послать одного вооружённого всадника. Отец Алтын-Тууди был стар и ехать на войну не мог, а сыновей у него не было. Старшая дочь вызвалась поехать на войну, но она не могла выдержать сурового испытания, которое устроил ей отец. Не выдержала испытания и средняя дочь. По-счастливилось младшей — Алтын-Тууди: она стала богатыркой и поехала на войну.

Кучияк считал себя счастливым: старший сын его служил на Востоке на пограничной заставе, второй сын воевал на Западе, старшая дочь пошла в армию медицинской сестрой. Все они выдержали испытание, и сам он ещё совсем не старый: может идти с винтовкой на врага. Он взял тетрадь, вырвал лист и начал писать заявление в областной военкомат:

„В дни Великой Октябрьской революции я, по своей глупости, не принимал участия и не помогал установлению советской власти на Алтае. Несмотря на это, советская власть и коммунистическая партия воспитали меня в духе советского патриотизма и сделали меня труженником социалистического общества. Из малограмотного парня я познялся до почётного звания советского писателя. Мне доверили большевистское перо. Я мог бы в военное время активно участвовать в печати, но я не могу сидеть дома: сердце моё рвётся туда, где наша доблестная армия бьёт зарвавшихся фашистских палачей. Сегодня я считаю вполне правильным — перо сменить на штык..“

Он упомянул о сыновьях и дочери, потом продолжал:

„Я не могу отставать от них. У меня сил много, глаза остры. Прошу послать меня на самую передовую позицию...“

Так писал Павел Васильевич в июне 1941 года. Но врачи были иного мнения о его силах и здоровье: они забраковали его.

Через год стала формироваться дивизия добровольцев-сибиряков. Павел Васильевич подал второе заявление, но и на этот раз ему отказали:

— Помогайте своим оружием-пером, — сказали ему.

Это огорчило его: он считал себя здоровым, верил в своё сердце и не думал, что болезнь может так быстро свалить его.

Он помогал фронту своим словом художника. Писал стихи и пьесы о гвардейцах фронта и тыла. Пьесы его ставил местный театр. Кучияк играл в них роли солдат и офицеров.

Весна 1943 года

Кучияк жил с семьёй в пятистенном домике, на одной из окраинных улиц Ойрот-Туры.

Весной 1943 года Павел Васильевич не раз участвовал в сборе сочной, весенней калбы. С ним ходили актрисы национального

театра, младший сын Марат и дочь Роза. Они рвали калбу по берегам речек, слушали кукушку, ночевали в лесу. Домой возвращались с тяжёлыми мешками, радовались добыче.

В начале июня Павел Васильевич работал в поле, где тогда были огороды. Он работал весь день и то и дело пил холодную ключевую воду. Работавшие на соседних участках, заметили это, забеспокоились:

— Что с вами, Павел Васильевич?

— День жаркий, — ответил он и опять принялся за работу. Домой он вернулся с температурой. Врач нашёл у больного брюшной тиф. Через три недели Павел Васильевич умер. Его похоронили на солнечном холме, возвышающемся над городом.

Последнее путешествие

Я вижу его живого, друга, писателя и актёра.

Он стоит на подмостках клуба в Белокурихе, весёлый, улыбающийся, приглашает зрителей в большое путешествие по Алтаю:

— Мы поедем по солнцу — из Ойрот-Туры в Ойрот-Туру. Первым на нашем пути будет Чойский аймак. Там — тайга. В тайге — много ягод. И много речек. Ходить трудно... Девушки поют вот на такой мотив...

Он поёт народную песню и тут же переводит её:

Чёрная смородина за речкой
Хороша, да как туда попасть?
Черноглазый паренёк, хороши ты —
Только где мне повстречать тебя?
Перекину мостик, — ягод черных
Наберу два полные ведра, —
На оин* схожу и полюбуюсь
Чёрными глазами паренька.

— Едем дальше, поворачиваем к югу, в Турачакский аймак. Там — Телецкое озеро. Золотое озеро, как у нас говорят. Там — другой мотив. Плывёт теленгит на лодке и поёт:

В сукна алые да в шелка
Застилаются рек берега.
Э-эй, у весёлой весенней воды —
Как нам весело — молодым!

Зал дружно аплодирует талантливому актёру, а он, подождав немного, подымает руку и объявляет:

* Оин — игры.

— Ну вот, переплыли Телецкое озеро. Теперь мы в долине Челушмана. Там горы—как стены. Наверху—снег, внизу—жарко. Там сеют пшеницу. Люди живут иначе и поют на другой мотив:

Что же красиво в долине широкой?
Полосы хлеба— пшеница, ячмень.
Кто же красивее? Да ты, черноокая,
Ясная, словно бы солнечный день.

Затем все мы, слушатели, пересаживаемся на верховых коней и с песнями едем к охотникам Башкауса, к скотоводам Кош-Агача. И песни звучат убыстренно, в такт поступи лошадей, бегущих „трухией“. Мы видим охотника, разжигающего костёр в тайге, видим пьяного купца-скотовода, возвращающегося из гостей. В каждом аймаке, в каждой долине—свой основной мотив, свои песни. И Кучияк кочует с песнями по горам Алтая.

— Мы приехали с вами—говорит он— на самый юг нашей области, остановились на берегу мутноводной Чуи. Лошади наши пасутся, щиплют маленькую серую травку, а мы сидим у костра, отдыхаем. И песня отдыхает где-то в горах. Пока она снова не пришла к нам, займёмся маленько музыкой.

Павел Васильевич берёт дудку, срезанную в лесу, и, как фокусник, показывает зрителям:

— Шоор. На нём любят играть молодые пастухи.

Он встряхивает головой, играет долго, увлечённо, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

На смену дудке в его руках появляется чуть заметная стальная скобочка с тонким язычком—комыс.

— Девушки и парни на этом инструменте объясняются в любви,—говорит артист, берёт скобочку в зубы, ударяет пальцем по стальному язычку.—Вот так вот, будто слова выговаривают.

И нам кажется, что вокруг нас—тайга, что где-то под корнями деревьев звенит маленький, невидимый ручеёк, потом доносится трель соловья, но скоро сменяется шопотом, готовым в любую минутку превратиться в искрящийся девичий смех.

Затем мы видим толшур, сделанный из кедра, похожий на балалайку. Музыкант ударяет по волосяным струнам, и голос его начинает гудеть, как гудит в полете шмель, вырывается несколько слов, сказанных речитативом, и строчка заканчивается тем же протяжным:

— У-у-у-у-у...

Кучияк поёт начало былины о каком-то богатыре, и в голосе его—что-то старческое, древнее-древнее. Порой кажется, что на сцене шелестят полуистлевшие страницы книги веков, осторожно и благовейно перевёртываемые седоволосым чтецом.

— Хватит, — снова слышим мы голос Кучияка, оборвавшего песню минувших столетий. — Это очень длинно, — объявляет он. — Дедушка Шонкор пел три ночи подряд..

Он кладёт топшур на столик и поворачивается к нам весёлым, немножко озорным парнем:

— Кони отдохнули, сладкой травы поели — можно ехать дальше. Всё берегом и берегом. Слева шумит быстрая Чуя, справа — горы до неба: заблудиться негде. Ночью луна дорогу покажет. Чуя впадает в Катунь. Луна плывёт над этой рекой, всё выше и выше. — тут её дорога. И мы пойдём за ней — по берегу Катуни. Перед нами Уймонская долина. Большая, гладкая, на озеро походит. Солнца там много, зелени много, снега на горах много, всего там много. Алтайцы живут рядом с кержаками, песни их слушают, себе чего-то маленько берут.

И, в самом деле, песня становится протяжной и чуть-чуть знакомой, — есть в ней что-то от наших старых русских „проголосных“ песен, какие в Уймонской долине на „гулянках“ любят петь русские старожилы.

Из Уймона — две дороги: одна — колёсная, в Усть-Канский аймак, другая — верховая, через Терехтинский перевал в Онгудай. Кучияк избирает последнюю.

— Мы с вами ещё не были на горах, где лежит вечный снег, — говорит он.

И мы поднимаемся с ним на высокий перевал, едем по снегу, слушаем песни гор. Потом мы спускаемся в долину и поздним вечером встаём в большой круг парней и девушек. Они покачиваются из стороны в сторону и поют новые песни — кто какую придумает.

Нам остаётся ещё три аймака: Усть-Канский, Шебалинский и Эликманарский. В каждом из этих аймаков звучат иные песни, отличающиеся и по мотиву и по содержанию от всего, что мы слышали раньше. Наконец мы возвращаемся в Ойрот-Тура, и нам жаль, что увлекательное путешествие уже окончилось. Но наш проводник, певец и рассказчик, знает, что нам не хочется расседлывать лошадей, и с лукавой улыбкой просит извинить его:

— Когда мы с вами были в долине Башкауса, я забыл спеть две песни. Слушайте „Охотничью кабаржиную“. Слов мало, музыки много. „Слушай меня. Я иду, я иду...“ Вот и вся песня. Споём раз и опять начнем.

Он закидывает голову, смотрит как бы на небо слегка приоткрывает рот, и мы слышим то скрипку, то звон крошечных серебряных колокольчиков, то щебет птиц, а порой и что-то такое, что ни с чем сравнить нельзя. Мы сидим, затаив дыхание, и смотрим на певца. И всем нам кажется, что тут какой-то обман зрения. В самом деле, стоит только на секунду закрыть

глаза, как тотчас же вся сцена заполняется музыкантами: вместо одного человека будет оркестр.

Человек-оркестр обрывает враз и музыку и песню. Он не ждёт аплодисментов и раньше, чем мы успеваем притти в себя, указывает рукой куда-то вверх:

— Вон на скале стоит кабарга, — меня слушает. С этой песней можно подойти к ней близко. Так делают хорошие охотники. Я тоже так делал.

Вспоминались многочисленные поездки по Алтаю. Я видел много охотников, слышал много песен, но никогда я не слышал ничего, хотя бы отдаленно похожего на „Охотничью кабаржиную“ Павла Кучияка. Человек-оркестр был единственным и неповторимым на всем Алтае. Но он скромно уверял себя:

— Эту песню я слышал от старика-охотника. Он привез её из Тувы...

В заключение этого оригинального концерта-путешествия Павел Васильевич исполнил „Охотничью колыбельную“. В ней ещё меньше слов, чем в первой песне. Всё её содержание — в трех словах: „Спи, дитя, спи“, но „музыкальное сопровождение“ в ней гораздо богаче, ярче и сложнее.

Певец закрывает глаза, мускулы его жилистой шеи напрягаются до предела, и она становится красной, словно всё больше и больше раскаляется огнём его души.

Человек-оркестр, поэт и сказочник, сошёл со сцены под восторженный всплеск аплодисментов. Путешествие закончилось, но в памяти слушателей оно будет жить до конца их дней.

Через века

В жизненном и творческом пути Павла Кучияка виден путь всего алтайского народа. Путь через века. Всё вперёд и вперёд к вершинам социалистической культуры.

В течение полуторых столетий господства англичан в Южной Африке культурное развитие местных народов и племён не двинулось вперёд: то же мотыжное земледелие, что и раньше, те же первобытные способы охоты при помощи деревянных копий и отравленных стрел, те же хижины. Полное отсутствие грамотности. Прибавились только болезни, принесённые белыми да вольное бродяжничество сменилось неслыханной эксплуатацией. Резко увеличилась смертность и не менее резко сократилась рождаемость.

В Америке индейцы за столетия жизни среди белых едва успели лёгкие вигвамы заменить глиняными лачугами с теми же дымными очагами. Они и сегодня не знают, что есть на свете Европа и Азия, что существуют моря и океаны. Лишь немногим из них известно, что есть такой город Нью-Йорк. Случайно по-

павший в посёлок индейцев автомобиль, по словам И. Ильфа и Е. Петрова, выглядит „уэллсовской машиной времени“.

Алтайцы в дни молодости Кучияка находились примерно на том же уровне развития, что и индейцы в первые годы заселения Америки белыми. Такими алтайцы оставались бы и поныне, если бы не Октябрьская социалистическая революция. За годы советской власти на Алтае народ, прежде отсталый и полудикий, пробежал расстояние в несколько столетий и стал в один ряд со всеми народами великого Советского Союза. Благотворное влияние этого чудесного путешествия через века особенно ярко сказалось на судьбе Кучияка. Отдельные этапы этого путешествия запечатлены в его рассказах, пьесах, стихах и песнях.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
П. Кучияк — Зажглась золотая заря. <i>Легенда</i>	3
— Золотое озеро. <i>Стих. Перевод Е. Стюарт</i>	11
— Встреча. <i>Стих. Перевод Е. Стюарт</i>	13
— Молодому поколению. <i>Стих. Перевод Е. Стюарт</i>	16
А. Коптелов — Великое кочевье. <i>Главы из романа</i>	17
И. Мухачев — Горы. <i>Стих.</i>	48
— Радость алтайки. <i>Стих.</i>	51
— Серебряная вода. <i>Стих.</i>	52
К. Растегаев — Соседи. <i>Рассказ</i>	54
А. Демченко — Встреча на зимовке. <i>Рассказ</i>	68
В. Кучияк — Вел нас велекий вождь. <i>Стих. Перевод К. Растегаева.</i>	—
М. Тюхтеев — Песня доярки. <i>Перевод К. Растегаева</i>	69
— Ответ. <i>Стих. Перевод К. Растегаева</i>	—
Г. Автоманов — Песня чабана. <i>Стих.</i>	71
— Песня вязальщицы. <i>Стих.</i>	—
П. Кучияк — Тойчи. <i>Рассказ. Перевод С. Павлова</i>	72
М. Юдалевич — Студентам и солдатам <i>Стих.</i>	86
— Другьям. <i>Стих.</i>	87
А. Демченко — Потомок дьогюрюка. <i>Рассказ</i>	89
— Томый. <i>Рассказ.</i>	100
М. Длуговской — Зима. <i>Стих.</i>	110
— Утро в горах. <i>Стих.</i>	111
— Песня об Алтае. <i>Стих.</i>	—
И. Сабашкин — Алтай. <i>Стих. Перевод А. Демченко</i>	113

<i>Н. Глебов</i> — Тавро. Рассказ.	115
<i>Н. Улагашев</i> — Играй, играй, мой топшур. Стих. Перевод Б. Каирского	119
— Сынару. Сказка. Перевод А. Смердова	121
Фольклор — Хвала Ленину. Перевод А. Демченко	137
— Сталинское слово. Перевод К. Растегаева	—
— Великий Октябрь. Перевод К. Растегаева	138
— Песня о новом Алтае. Перевод Б. Каирского.	—
— Песня Сталину. Перевод Б. Каирского	139
— Песня о Сталинской Конституции. Перевод Б. Каирского	—
— Большое счастье Перевод К. Растегаева	140
— Колхозная. Перевод К. Растегаева	—
— Наша армия. Перевод К. Растегаева	141
— О Конституции. Перевод К. Растегаева	142
<i>А. Коптелов</i> — Павел Кучияк. Воспоминания	143

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. Кучияк (ответственный редактор),
А. Герман, А. Демченко, Н. Кочеев,
К. Растегаев и В. Кыпчаков.

Технический редактор: *Н. Куранков*
Художник: *И. Митрофанов*
Корректора: *З. Суразакова и Н. Пареев*

АН 18381. Сдано в набор 5/V-1947 г. Подписано к печати 7/V-1947 г. Бумага 70X87¹/₁₆. Печ. л. 11,75. Тип. знак. в 1 печ. л. 41760. Учетно-авт. л. 11,7. Уч.-изд. 12,3 Тираж 3000. Заказ № 481.

г. Ойрот-Тура, Ойротская 63. тип. Облгиздательства.

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

6/12-1175
21/12-396

27/12-282
4/1-1209

Колич. предыл. выдач _____

Зак. 2343. Тир. 7.000.000.

Тип. изд-ва «Московский большевик»

Цена 7 руб.